

СОЛО

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

1

СТД РСФСР
1990

COLO

1

SOLO

Издание Союза театральных деятелей РСФСР

С о д е р ж а н и е

Анатолий Гаврилов.

История майора Симинькова	5
Зачем?	15
Учения	17
Что делать?	19
Тан и Чвень	20
В гости	22
Рассказ незнакомого человека	23
«Б» и «У»	26

Дмитрий Добродеев.

Русский пирог	30
Ключ забвения	42
Луна - парк	44
На даче	46
Я убил Орлицкого	48
Дом моряка	50
Отец и сын	52
Хельга -- необычная история любви	54

Тимур Кибиров.

Эклога	60
------------------	----

Саша Соколов.

Палисандрия	61
-----------------------	----

ИСТОРИЯ МАЙОРА СИМИНЬКОВА

маленькая повесть

«...есть некая общая идея, которая придает порою всем этим собраным воедино суровым людям красоту подлинного величия — идея Самоотречения»

Альфред де Виньи

«Неволя и величие солдата»

История гвардейского офицера Николая Ивановича Семинькова, которую я сейчас намерен рассказать, в свое время вряд ли имела какой-либо резонанс в высших кругах кадровой элиты ракетных войск, однако сейчас, по прошествии лет, представляется мне весьма поучительной и печальной.

В середине шестидесятых годов в наш ракетный дивизион, в котором я в звании капитана командовал ротой минирования и заграждения, прибыл молодой, щеголеватый офицер Николай Иванович Семиньков. Прекрасно сшитый костюм, чемодан из натуральной кожи, серебряный портсигар с монограммой и эмблемой ракетных войск, папиросы «Герцеговина флор», тонкий аромат дорогого одеколона, походка, речь — все выдавало в нем человека светского, в себе уверенного и незаурядного.

Теперь я позволю себе в нескольких словах обрисовать расположение нашего дивизиона и уклад его жизни.

Стояли мы в болотистых лесах, окруженных по периметру танталовыми нитями сигнальной системы, стальной паутиной ловушек и электрозаградительной сеткой, а квартировали с семьями в деревне Глыбоч, отстоявшей от дивизиона в сорока километрах.

Командиром дивизиона в ту пору был Федор Степанович Супрун, кадровый военный, прошедший нелегкий путь от старшины роты до полковника, человек весьма крутой и, как говорится, не без перегибов. Ему ничего не стоило без особой нужды в течение нескольких часов продержать дивизион под дождем и снегом, отдать приказ провести политзанятия в противогазах или унижить офицера при солдатах... Свои пробелы в техническом образовании, — а техника у нас была не из простых, — он компенсировал фанатическим рвением в

вопросах порядка и дисциплины. Он, имея семью, мог неделями, месяцами не выезжать из расположения дивизиона, докапываясь до каждой мелочи. Впрочем, солдаты его, кажется, любили, да и он, помня, вероятно, с чего начинал сам, тоже по-своему любил их. А вот офицеров, особенно молодых, образованных и пытавшихся каким-то образом проявить независимость суждений и взглядов, он терпеть не мог и презрительно именовал «балеринами».

Итак, принимая во внимание некоторую однообразность нашей жизни и характер Супруна, мы не без оживления и любопытства явились в штаб на церемонию представления новенького, чей внешний облик и манеры без всякого сомнения подпадали под статью «балерины».

Деталей, к сожалению, я уже не помню, могу только сказать: первое испытание молодой Симиных выдержал достойно. Ни один мускул его красивого лица не дрогнул в ответ на грубости и насмешки командира. «Щеголь, а крепко, — подумали мы, — но что-то дальше будет?»

А дальше, как и должно было ожидать, последовали новые испытания. Молодой и неопытный офицер был назначен командиром самого неблагополучного во всех отношениях заправочного отделения пятой стартовой роты. Ход мысли п-ка Супруна был прост и понятен: посмотрим-ка теперь, балерина, твои антраша!

И теперь не было, наверно, такого дня, чтобы Супрун не заглянул в пятую роту и не покуражился над Симиныхым по поводу тех или иных недостатков, а было их там предостаточно. Командовал пятой ротой тогда к-н Виктор Петрович Наумчик, предававшийся чрезмерным возлияниям гидрозным спиртом и по сей причине не могший хоть как-то постоять за Симиныхова.

Симиных же своей невозмутимостью только подливал масла в огонь, и как-то за обедом, когда мы остались вдвоем, я посоветовал ему не злить старика и каким-нибудь образом смягчить его.

«Ву компрене, мон шер, — отвечал Николай Иванович, постукивая папироской по крышке своего замечательного портсигара. — Моя твердыня — устав, а посему я не намерен потакать грубостям Супруна, препираться же с ним мне, поверьте, безмерно скучно... Супруны покидают сцену, а мы остаемся. Свой долг я вижу в служении Отечеству, а все остальное, право, не стоит и выеденного яйца, но се па, мон шер?»

Тут я должен пояснить, что Симиныков являлся выпускником одного из самых престижных закрытых военных заведений, питомцы которого получали блестящее образование и самые прекрасные виды на будущее, и мы, узнав об этом, были немало удивлены тому, что такой офицер получил назначение в наше захолустье. Слухи и догадки по этому поводу в нашем дивизионе ходили самые разные, но наиболее упорно муссировалась версия, что он сюда сослан — за масонство... Сам же Николай Иванович тайн своих никому не раскрывал, образ жизни вел обособленный и, казалось, ничего, кроме службы, знать не хотел.

Через какое-то время ему удалось вывести свое отделение из отстающих, на учениях его заметил сам «Черный кот» — командир дивизии г-л Бондаренко, и дальнейшее его восхождение шло уже по знаку свыше и вопреки воле и желанию Супруна.

Спустя полгода он был назначен заместителем командира пятой роты по технической части, а еще через год — он уже капитан и командир этой же роты вместо совсем спившегося и переведенного в хозяйственный взвод незадачливого Наумчика, и все это происходило, как я уже упоминал, через голову Супруна.

Супрун пребывал в ярости, но то была уже ярость бессилия — не мог же он перечить воле «Черного кота»... И тогда от выпадов прямых он перешел к выпадам косвенным, в которых тоже был мастак. Симиныков же по-прежнему держался хладнокровно, подчеркнуто строго, придерживался буквы устава, вызывая наше восхищение и тем, что ни разу, никогда и ничем он не подчеркнул своего особого положения под светом генеральской звезды...

Наследство ему от Наумчика досталось не из легких, пятая рота отличалась и бесшабашным гусарством, и сибаритством, и тем не менее Николай Иванович за весьма короткий срок сумел ее не только приструнить, но и вывести в образцовые. Переходящий красный вымпел надолго прописался в его ленинской комнате, а сама эта комната при нем совершенно преобразилась и могла служить образцом высшего армейского дизайна, политической зрелости и почти домашнего уюта. Да и казарма со всеми ее каптерками, подсобками и прилегающей территорией — все сияло чистотой и порядком. А какие политзанятия проводил Николай Иванович! Всегда своими словами, без обычных наших шпаргалок, наугад и косноязычия — любо-дорого и посмотреть, и послушать, что мы и делали, напрашиваясь к нему в гости...

С солдатами он был неизменно приветлив, хотя за этой приветливостью, думаю, они не могли не ощутить некоторой холодности, свойственной его натуре, а посему они вряд ли его любили, а скорее всего побанвались. Вполне допускаю, что что-то их могло раздражать в этом типе командира и даже вызывать порой ненависть, как то же слово «голубчик», с которым он неизменно обращался и за которым обыкновенно могли последовать разнос и наказание. Слово это, кстати сказать, самого Супруна очень злило и приводило в натуральное бешенство и часто служило причиной всевозможных разбирательств и даже апелляций к высшему командованию, остававшихся, впрочем, для Симинькова без каких-либо серьезных последствий...

Что же до прочего всего, то должен заметить, что герой наш был холост, наши дамы проявляли к нему любопытство, он же отвечал им вежливыми любезностями, отнюдь не вступая с ними в те отношения, которые мы, офицеры, между собой называли «сучить дратву».

Помню, на юбилее полка, в концерте с участием наших дам, жена замполита Ткачевского, майора, солируя с песней «Колокольчики-бубенчики звенят», бросала ему со сцены столь пламенные взгляды, что это, пожалуй, было уже почти неприличным. Однако Симиньков оставался холоден и погружен в себя. И после концерта, на нашем импровизированном балу, он ни разу не подошел к ней, не пригласил на танец и даже не взглянул на ее великолепное декольте, к которому мы, прочие сирые, никогда не могли привыкнуть: оно, это декольте, часто являлось предметом наших разговоров, тайных надежд и зависти к счастливчику Ткачевскому, майору и замполиту...

Я уже, кажется, упоминал о том, что образ жизни Николай Иванович вел несколько обособленный, в обычных наших попойках не участвовал, анекдотов и сальностей избегал.

По утрам мы часто бывали помяты, хмуры и раздражительны, тем более что предстояла сорокаверстная тряска по разбитой, бог весть когда проложенной в наших лесах какими-то пленными дороге, он же всегда в одно и то же время бодро подходил к автобусу, легко в него вскакивал и, с улыбкой оглядывая наше пасмурное общество, неизменно спрашивал: «Кес кесе, други?»

Как-то раз, будучи на дежурстве и изрядно употребив с к-м Постоем, а перепутал двери в нашей офицерской гостинице и оказался в комнате Симинькова, который в ту неделю тоже нес дежурство. В комнате никого не было, и я, приняв ее за свою, уже приготовился было лечь и задать храповецко-

го, как вдруг случайно бросил свой взгляд на освещенный стол и тут же понял, что нахожусь в чужой комнате. На столе были портсигар с монограммой «SNIR», что означало «Симиньков Николай Иванович, ракетчик», гипсовая пепельница в форме черепа, изготовленная нашим дивизионным умельцем, солдатом срочной службы Прокатовым, и какая-то толстая книга, на обложке которой я, приблизившись к столу, прочитал — «Буонапарте». «Так вот оно в чем дело!» — быстро трезвея и ретируясь из чужой комнаты, подумал я...

И в комбатах Николай Иванович не засиделся, на учениях рота его показала необыкновенные слаженность и выучку, и когда условный противник был условно накрыт условной ядерной головкой, «Черный кот» ласково похлопал Симинькова по плечу, на котором вскоре и засияла майорская звезда, а вслед за тем он был назначен начальником штаба нашего дивизиона вместо вышедшего в отставку Виктора Митрофановича Мозжука.

Мы уже не удивлялись столь стремительному продвижению молодого офицера, рисуя в своих фантазиях и более высокие сферы его возвышения. Наиболее дальновидные из нас уже давно искали с ним дружбы. Ему льстили и заискивали перед ним, и только Супрун был мрачен, не без оснований предполагая, что следующее повышение Симинькова будет на его, Супруна, командирское место.

Понятно, что теперь он был вынужден отказаться даже от косвенных выпадов против Николая Ивановича, и только затаенные презрительно-враждебные взгляды выдавали его чувства к молодому выдвиженцу и как бы говорили: еще посмотрим....

Симиньков же был с ним прост, естествен, называл его по имени-отчеству и, казалось, вовсе не помнил зла, хотя за всей его простотой все же угадывалась некоторая снисходительность к старику — Супрун это чувствовал и с каждым днем мрачнел все более...

И в новой должности Николай Иванович показал себя с лучшей стороны, и мы уже с каким-то нетерпением ожидали очередного его повышения, как вдруг случилось падение...

Произнося это слово и вкладывая в него некий общий смысл, я все же в первую очередь имею в виду действительное падение Симинькова на плацу во время торжественного марша и в присутствии высокого армейского начальства во главе с самим «Черным котом» — г-м Бондаренкой...

А дело было так. После трехдневных учений и предварительного подведения итогов, на котором мы были оценены

весьма положительно, дивизион построился на плацу для смены боевого дежурства. Погода была скверная, из тяжелых облаков, ползших над осенним лесом, сыпались то дождь, то снег, то крупа, за три дня мы основательно измотались и были в ожидании тепла и вкусного офицерского обеда, за которым, учитывая наши старания, г-л Бондаренко мог неофициально позволить нам расслабиться рюмочкой-другой чего-нибудь согревающего. Да уже и сверхсрочник Бруй из хозяйственного взвода промелькнул на крыльце столовой со своею заветной канистрой, что еще более укрепило и обнадежило нас. Тем временем церемония смены боевого дежурства шла своим обычным ходом: звучали команды, принимались доклады, под звуки гимна на мачту был медленно поднят флаг, после чего дивизион повернулся направо и под брагурный марш, побатарейно, одного линейного дистанции, равнение налево, пошел мимо трибуны, где среди своей свиты выделялся тяжелой папахой и прожигающим взглядом «Черный кот», а по левую руку от него, на некотором расстоянии, мрачно горбился наш Супрун...

А вел дивизион Николай Иванович Симиных, и тут я должен сказать, что равных ему в фигуре, выправке и шаге не было не только в нашем дивизионе и полку, но, полагаю, и во всей дивизии, в его строевом шаге высшая армейская четкость удивительным образом сочеталась с аристократической легкостью и изяществом, это был шаг высшего класса, этот шаг мог бы украсить парад любого, самого высокого ранга, и было грустно сознавать и видеть, как этот шаг пропадает в нашем захолустье — так тяжело и грустно бывает увидеть на раскисшей от непогоды колхозной ниве, среди изможденных баб в грязных сапогах и фуфайках, какую-нибудь молодую деревенскую красавицу...

Однако вернемся к делу... Итак, печатая свой отменный шаг, Николай Иванович повел за собой дивизион, как вдруг у самой трибуны, уже приняв стойку равнения налево, он вдруг зашатался, взмахнул руками и рухнул на заднее свое место... Поскользнулся ли он, неожиданная ли судорога свела его члены, сказала ли усталость трехдневных учений, вдохнул ли где случайно он паров ракетного топлива — бог его знает... тяжелый вздох прокатился по нашим рядам, г-л Бондаренко отвернулся, на мрачном лице п-ка Супруна промелькнула злорадная усмешка...

Падение это, впрочем, произошло в считанные секунды, Николай Иванович тут же вскочил, поправился и пошел печатать свой шаг дальше, но именно с этого момента мы заметили в нем какой-то надлом...

А в тот злополучный день он так был расстроен, что даже не явился на обед с украинским борщом, отличными котлетами с картофельным пюре и неофициальной порцией спирта, закрепленной впоследствии вишневым наливкой из личных запасов сверхсрочника Бруа...

А вечером того же дня, уже дома, в Глыбоче, открыв на звонок дверь, я с изумлением увидел его на пороге. Вид Николая Ивановича выражал крайнее смущение, в руках же он держал штоф «Столичной». Я засуетился, пригласил его в наш дом, просил быть непринужденным и извинялся за свой внешний вид, поскольку мы с женой как раз расположились у телевизора перед программой «Время» и находились в неглиже. Стол наш был тут же раздвинут и накрыт праздничной скатертью, появились закуски, милая моя Нина, понимая необычность визита, была особенно приветлива и внимательна. Через некоторое время, придя в себя и освоившись с ролью душеприказчика, назначенной мне Симиньковым, я, как мог, стал его успокаивать и утешать и даже напомнил ему его же слова, сказанные мне как-то в столовой, что главное — это служение Отечеству, а все остальное не стоит и выеденного яйца — так нужно ли хандрить из-за какой-то нелепой случайности, о которой все уже и забыли! А для примера я рассказал ему, как еще до прибытия его в наш дивизион на одной из инспекторских проверок, утром, после ночного служения Бахусу, к-н Придыбайло не смог доложить проверяющему своей фамилии. «А ничего, служит ведь! — говорил я. — Поди и майора скоро получит!»

Я взял в руки гитару, моя Нина, раскидав по плечам свои пышные, вьющиеся волосы, спела для нас романс, не забывал я и рюмки наполнять, и анекдоты какие-то вспомнил — старался, то есть, как мог — и постепенно наш Николай Иванович оживился, повеселел, хохотал, называл мою жену Людмилой Зыкиной и даже танцевать хотел... Провожал я его уже глубокой ночью, шли в обнимку и громко пели что-то, кажется, из Высоцкого...

Событие, о котором я намерен теперь рассказать, произвело решительный поворот в судьбе Симинькова, и даже мы, дивизионное офицерство, не имевшие прямого касательства к этому делу, и то были потрясены и сделались как-то совершенно потерянными.

Случилось же вот что. Перед самой Октябрьской годовщиной Николай Иванович был вызван в штаб полка для получения бумаг особой важности. Утром с необходимой охраной выехал он в полк, к вечеру благополучно вернулся в дивизион, пакет с бумагами спрятал в сейф и опечатал его.

Теперь уже трудно гадать, каким образом случилось, что на следующее утро, разбирая бумаги по описи, он обнаружил недостачу одной. По инструкции ему было положено о случившемся немедленно доложить в полк, но он этого не сделал, прекрасно понимая, что звонок этот уже сам по себе был бы приговором его судьбе. В те времена у нас в ракетных войсках на многое смотрели сквозь пальцы, многие грехи отпускались, и только одно каралось неукоснительно и беспощадно — нарушение режима секретности. Тут уже не миндальничали и давали на всю катушку. И вообще пятно такого рода считалось несмываемым и приравнивалось к потере офицерской чести. Кажется, легче было быть уличенным в пьянстве или даже воровстве — не скажу, что все это воспринималось как должное, но все же со временем забывалось, стиралось как-то, — нарушение же режима секретности делало офицера в глазах начальства и даже друзей-сослуживцев парией. Такому человеку и руку-то подать бывало уже непросто.

Легко позтому понять растерянность и отчаяние Симинькова. Наверное, он бы застрелился, если бы не опасение тем самым еще более запятнать свое имя, саму память о нем, ибо наверняка в таком случае он был бы заподозрен не только в трусости, но, возможно, и в связях с иностранной разведкой.

Защитить свою честь, найти утерянную бумагу было теперь единственным смыслом жизни Симинькова. Он настолько потерял власть над собой, что в первый момент в кровь избил штабного писаря Ромашко, который, как ему показалось, имел касательство к пакету. Далее он поднял дивизион по тревоге, и весь день, разбившись по квадратам и не разгибая спины, обшаривали мы все углы и закоулки, рылись в прелых листьях, золе, мусоре и пищевых отходах, обращая внимание на каждую бумажку. И хотя было совершенно очевидно, что утерянной бумаги нам не найти, Симиньков упорствовал в безумии своем, вызывая ропот солдат и смущая даже нас, его доброжелателей.

К вечеру он обратил свои усилия на отхожее место и приказал подогнать к нему передвижную электростанцию, прожектора и насосную установку. Мы вскрыли бункер, опустили в него насосные рукава и стали откачивать и процеживать его содержимое. Симиньков лично проверял откачиваемую жижу на фильтровой сетке, перебирал и рассматривал под светом прожекторов каждую бумажку.

К полуночи, когда все мы буквально валились от усталости, он приказал подать к бункеру стрелу установщика 8—У 208, облачился в серебристый защитный костюм для

ракетных учений, натянул противогаз и в люльке стрелы опустился на дно бункера, чтобы лично удостовериться в том, что все уже откачано и что злополучной бумаги там нет.

Вверху, освещая осенние леса, стояла луна, внизу, под ослепительным светом мощных прожекторов, бродил среди зеленой жижи и бетонных стен несчастный Симиньков. Он пытался еще подавать нам из бункера какие-то команды, но к нам долетали лишь жалобные звуки, стон и мычание. Вдруг он остановился, сорвал с себя противогаз и затравленно посмотрел по сторонам и вверх. В тот момент, помню, мне вдруг подумалось, что бункер этот в случае атомной беды может послужить хорошим убежищем, но тут же, взглянув на Симинькова, я с отвращением отверг эту мысль. Мы поспешили поднять Николая Ивановича из бункера, омыли его в лучах прожекторов под брандспойтами и, уже совсем невменяемого, на руках отнесли в офицерскую гостиницу.

С ним приключилась горячка. Дней десять лежал он потом в нашей дивизионной санчасти под присмотром доброго нашего эскулапа Степы Лынзаря, большого охотника до женского полу и анекдотчика. Он и сюда, в санчасть, бог весть какими правдами и неправдами сумел пристроить свою пассивную на должность санинструктора. Так и ходила она среди нас в туго натянутой юбке защитного цвета, поочередно назначая нас своими чичероне. Оба они, Степа, то бишь старший л-т Лынзарь, и красавица Любаша, выхаживали нашего Симинькова.

Между тем был он совсем плох, тосковал и все говорил, что следовало бы ему получше искать в бункере...

В те же дни получил я назначение в Н-скую часть и уехал, не дождавшись конца печального этого события. А оттуда, в звании уже м-ра, вышел я в отставку и навсегда уехал в приморский городишко Н-к. О Симинькове я долгие годы ничего не слышал и даже стал забывать его за повседневными заботами и семейными неурядицами своей новой, теперь уже штатской жизни.

А прошлым летом, будучи в столице и толкаясь в ГУМе в надежде купить жене простые чулки, вдруг наткнулся я на Любина, бывшего нашего дивизионного бильярдиста, поэта и вольнодумца. Он первым меня узнал, мы обнялись и прослезились.

— Ба, а помнишь ли Симинькова? — вдруг спросил он и рассказал конец этой истории.

После утери документа Симинькова не только не лишили свободы, но даже и не разжаловали, а лишь понизили в

должности. В результате многодневного следствия особистами штаба армии было установлено, что утеряна всего-то была инструкция к картофелечистке для солдатской столовой, и все же оставаться после этого в штабе полка ему было уже никак нельзя, и он вернулся в свою пятую роту комбатом, но это, по словам Любина, был уже совсем не тот Симиньков: и командировал он уже как-то вяло, и даже попивать и сквернословить стал, и от всего блестящего его прошлого горьким напоминанием оставался лишь знаменитый портсигар с эмблемой и монограммой...

При первой же возможности он подал в отставку, районное начальство предлагало ему возглавить в Глыбоче новый свинооткормочный комплекс, но он от предложения этого отказался наотрез и выехал навсегда...

— А не хочешь ли его посмотреть? — спросил Любин.

Я изумленно взглянул на него.

— Да здесь он, в Москве, в Сокольниках! Тиром заведует! Потолстел, подобрел и рюмки не чурается. Зайдем, поговорим, пивка по-стариковски выпьем, бывшее вспомним?

Но я, сославшись на недомогание и нехватку времени, отклонил его, впрочем, не настойчивое приглашение и быстро сменил тему разговора.

ЗАЧЕМ?

Закончив маневровые работы, составитель поездов Иван Ильич Христодулов побрел к тепловозу.

Ему нездоровилось.

Слева мрачно шумело ночное море, справа мрачно горбились и зияли разбитыми окнами списанные вагоны.

Христодулов поднялся на тепловоз и вошел в кабину. Машинист тепловоза Виктор Петрович Колесник отложил в сторону повесть Проскурина «Запах земли» и надвинулся на Христодулова.

— Ты мне не нравишься, — надвигаясь и сжимая, сказал он. — Ты слишком долго делал маневры.

— Нездоровится мне, пусти, — сказал Христодулов.

— В таком случае сеанс ударотерапии будет вам весьма кстати, — сказал Колесник, снял с головы Христодулова шапку и выдернул из его некогда пышной шевелюры клочок волос.

Христодулов взвизгнул от боли.

— Прошу ужинать, — сказал, отпуская, Колесник. — Картошечка, сальце, чаек.

— Не хочу. Аппетита нет. Нездоровится, — ответил Христодулов.

— Тогда хоть чайку попей. Чай свежий, индийский, — сказал Колесник, протягивая кружку.

Христодулов сделал глоток, поморщился и выплеснул чай в окно.

— Ты зачем это сделал? — надвигаясь и сжимая, спросил Колесник. Ты зачем это сделал с индийским чаем?

— Ты бросил в него соли. Пусти, я на пост пойду, — отвечал Христодулов.

— А что тебе соль? — продолжая сжимать, спросил Колесник. — Или пиндосы* уже не любят соленого? Или ты уже не пиндос?

Христодулов мычал, хрипел и конвульсировал.

— Ладно, — отпуская, сказал Колесник. — Иди на свой воночий пост. Там тебе крысы когда-нибудь нос отгрызут.

Христодулов открыл дверь, но Колесник схватил его за штаны, подтащил и сказал:

* Презрительное прозвище приазовских греков.

— Да не ходи ты, Иван Ильич, на этот пост. Спи со мной. Я тебе царскую постель сделаю.

Он постелил на полу мешковину и ветошь, и Христовулов лег.

Колесник спрятал остатки еды в портфель, помочился с тепловоза, выключил свет и лег рядом. Ему приснилось, что рядом с ним жена, и он обнял Христовулова, а Христовулову приснилось, что его судят за разбитый вагон и приговаривают к смерти через удушение.

— О, да ты уже не пиндос, а китаец! — сказал утром Колесник. — Где твои глаза? Что-то, брат, ты совсем запаршивел. Маневры делаешь долго, хороший индийский чай кажется тебе соленым, а во сне ты кричишь и пердишь. Придется мне за тебя взяться. Вот сейчас сменимся и я поведу тебя в сауну.

— Да не хочу я никакой сауны, домой я пойду, — отвечал Христовулов.

— Пойдешь, пойдешь! Сауна — это вещь. Ты ведь не знаешь, что это такое!

И он повел его в сауну локомотивного депо, куда не каждого пускали, но Колесника, близкого к локомотивной элите по партийной и профсоюзной активности, пускали, а вместе с ним пропустили и Христовулова.

Там, как вы уже догадались, ему стало плохо и он умер.

Ночь. Идут маневровые работы. Справа мрачно шумит море, слева мрачно горбятся и зияют разбитыми окнами списанные вагоны.

Составитель подает команды, Колесник автоматически выполняет.

Всем хорош новый составитель: и подвижен, и ловок, и сообразителен, а все же чего-то в нем не хватает.

И Колесник скучает, томится, мается.

«Зачем я его повел в сауну?» — думает он, глядя из окошка на беспокойное море.

УЧЕНИЯ

Стояли на плацу. Над опустевшим лесом ползли тяжелые облака. Вышел Козик, обвел строй тяжелым взглядом, поздоровался. Ответили. Ворон перелетел с ветки на ветку. Развернулись, двинулись к тренажеру. По команде ошкурили и смазали затворы. Расчехлили тренажер, сняли бандаж. Подсоединили шланги, надули тренажер воздухом и заправили смазкой. Наводчики навели цель. Козик нажал рычаг, тренажер сложился по линии бандажа и принял рабочее положение. Еще раз проверили воздух, смазку и цель. Отклонений не было. По команде приступили к синхронному нагреву затворов.

— Не частить! Держать до ста! — кричал Козик в мегафон.

Все протекало нормально, только Угрехелидзе и Шпанко выбивались из режима: первый частил и не держал, второй тянул и передерживал.

Развернулись в колонну по одному и стали отрабатывать основной норматив. По очереди разбегались и прыгали на тренажер, стараясь взведенными затворами попасть в обшитую кожей и лоснившуюся от смазки цель с последующим разворотом на сто восемьдесят градусов.

Тренажер вздрагивал, выпуская отработанный пар и смазку. Закончили тренаж. Продули, почистили и зачехлили тренажер.

Со знаменем и оркестром, боевым порядком двинулись в ЗПР для взятия основной цели.

Лес кончился, шли мертвым полем.

У гигантского и совсем пустого свинооткормочного комплекса Козик остановил подразделение и задумался. Детство и юность его прошли на свиноферме, и он не мог равнодушно пройти мимо этого места. Воспоминания сжали его сердце, на глазах появились слезы.

— На колени! — крикнул он.

Опустились, постояли, двинулись дальше.

Вышли к отстойнику. Ветер шевелил траву вокруг струпчатой болячки. Стали обходить, но Козик вдруг остановил. Он посмотрел на своих подчиненных и подумал, что далеко не все из них знают, что такое отстойник свинофермы. Он с неприязнью подумал о тех, кто этого не знает.

— Пройти отстойник! — приказал он.

Нерешительно вошли в жижу. Козик взобрался на моно-рельс, скользил над отстойником, подбадривал:

— Вперед! За мной! Не робеть, замудонцы!

Сержанты подталкивали, увлекали, тащили за собой отстающих.

В центре отстойника Козик приказал всем присесть и погрузиться с головой.

Погрузились. Тех, кто медлил это сделать, Козик с моно-рельса поправлял пешней.

Прошли отстойник, почистили затворы, двинулись дальше.

У водокачки развернули знамя. Это было двухрукавное знамя флюгерного типа с байковой подкладкой.

Ветер тут же надул его.

Вошли в поселок, остановились на пустыре.

Блестело битое стекло, на горизонте дымились трубы.

Разведка доложила, что Тонька дома.

— Взвести затворы! Фронтом вперед! Оркестр! — крикнул Козик.

Тонька услышала знакомые звуки марша и вышла на крыльцо.

Войско, блестя затворами, приближалось к ее надувному домику, сделанному из водонепроницаемой серебристой армейской ткани.

Тонька пошла в дом, сняла бандаж, смазалась тугоплавким солидолом и заняла исходное положение.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Да, скоро все кончится: и диван, и газеты, и телевизор, и часы, и телефон, и потолок, и стены, и окно... Ничего не понишешь — пора. Закон отрицания отрицания, закон перехода количества в качество...

Свезут на новое кладбище, где завод и свинарник — и все, конец.

А все друзья, жена, родственники — на старое кладбище, где благородство вековой зелени, мрамора, тишины...

Не успел на старое, опоздал...

Конечно, там еще хоронят, но кто походатайствует за одинокого старика?

Ни особых заслуг, ни блата...

Придется тащиться на новое...

Телефона там, конечно, нет... в гости никто не придет... Дым завода и рев голодных свиней...

И этот Иисус, если он существует, вряд ли туда придет... не захочет тащиться...

Все встанут, а мы будем заседать в каком-нибудь могильнике....

Пусть себе заседают, скажет он, не буду отрывать их от важных дел....

А вдруг он придет и спросит с усмешкой: ну, как вы тут заседаете? По какому принципу определяете праведных и грешных? Как тут у вас относительно основополагающих законов отрицания отрицания, перехода количества в качество, борьбы и единства противоположностей?

Может, отказаться от всех этих законов?

Может, еще не поздно?

Но что в них плохого, несправедливого?

А вдруг ему эти законы не нравятся, и он спросит: зачем не отрекся от того, во что сам никогда не верил и навязывал другим?

Но кому их навязывал? Никому и не навязывал. Только однажды в споре с Пашпадуровым на философские темы я прибегнул к помощи этих законов и выиграл спор...

А вдруг он спросит: зачем же было отрекаться?

А вдруг его нет?

А вдруг он есть?

Нет доказательств, что он есть, но и доказательств, что его нет, тоже нет...

Потолок...

Мухи...

Что делать?

ТАН И ЧВЕНЬ

Они познакомились в условиях непроходимых джунглей, колючей проволоки и ядовитых испарений АКЗП-10. Тан был банщиком, Чвень — скотником. Они сдружились, и более образованный Тан стал обучать менее образованного Чвеня правильному произношению фразы «Ich liebe dich»*.

— Я считаю эту фразу универсальной; — говорил Тан Чвеню в душной банной пристройке, — и мне очень хочется, чтобы ты овладел ею. Ну-ка, еще разок повторим! Только ты не сжимайся, дыши легко и свободно!

— Ich liebe dich, — произносил потный Чвень.

— Молодец, хорошо, только помягче, помягче! Более трепетно и нежно! Представь себе лотосы в лунную ночь, едва колеблемые слабым и в то же время страстным дыханием ветерка! И не смотри при этом волком, а то ведь это «Ich liebe dich» звучит у тебя, как «стой, стрелять буду!» Понял?

— Понял, — отвечал совершенно взмокший Чвень.

— Вот и хорошо! А теперь — еще разок! — не унимался Тан.

«Что ему от меня нужно? Зачем мне это? Какой от этого практический смысл?» — тоскливо размышлял Чвень, лежа на циновке рядом со спящими свиньями.

Когда агрессор был повержен, друзья обнялись, распрощались и разъехались по своим провинциям.

В первый же вечер, выпив стакан рисовой водки, демобилизованный Чвень отправился в парк, подошел к незнакомой девушке с лицом утренней орхидеи и сказал:

— Ich liebe dich!

Девушка вскрикнула и убежала.

«Как живешь? Почему молчишь?» — спрашивал Тан в своих письмах.

«Живу хорошо», — отвечал одинокий Чвень.

* Я люблю тебя (нем.).

Шли годы. Тан, проползая пустыри, помойки и свалки, получил звание Магистра Фразы «Ich liebe dich», а Чвень работал прачкой в комбинате «Восход».

— Ich liebe dich! — с надломом и болью произносил Тан в пустых концертных залах.

— Десять, двадцать, тридцать, — отсчитывал Чвень пачки выстиранного и отглаженного белья.

Иногда друзья встречались, пили рисовую водку и вспоминали непроходимые джунгли, колючую проволоку и ядовитые испарения АКЗП-10.

Шесть лет спустя марионеточный режим соседней страны предал интересы своего народа, и друзья были снова мобилизованы. Перейдя границу в районе провинции Минь, они тут же были схвачены вражеским арьергардом, допрошены и по решению военного трибунала посажены на тростник в высокогорной Долине Грез.

Первым в мир Тишины и Покоя ушел Тан, а за ним, тут же, — Чвень. Нет, наоборот: сначала Чвень, а за ним — Тан. Впрочем, это уже не имеет значения.

В ГОСТИ

Проснулся я в салоне автобуса — свет, все выходят, но за окном — тьма... Неужели так жалок город Бульбакна, к которому еду в гости?

Бульбакин? Да, Бульбакин Василий, вместе служили, однажды он едва не сгорел от самогона и чуть не умер от анаши в лесу за туалетом — страшно хохотал, называл меня Руслановой, с разгона пытался попасть головой в сосну...

В столовой сидели рядом, он страшно любил кисель, мог выпить ведро и выпивал, пользуясь непонятным покровительством огромного рыжего повара, которому под конец службы дали полтора года дисциплинарного батальона за систематическое издевательство над коровой из подсобного хозяйства...

На втором году службы у него умерла мать, он ездил домой, привез грелку самогона, пили в канализационном люке, он плакал, стонал, пытался разбить голову об трубу, предлагал подкопаться под дивизионный магазин, похитить сгущенку и пряники и с автоматами бежать в Попельню, к какой-то Наде, с которой он якобы познакомился по дороге из отпуска...

Ночью мог разбудить, чтобы посвятить в свои планы...

Однажды, разбудив, сообщил, что отныне начинает сбор секретных данных для их продажи иностранной разведке...

Вечерами заставлял втирать в свою лысеющую голову мазь из глины, зубной пасты и «Циатима»...

Любил кроссы с полной выкладкой...

Штудировал немецкий, намереваясь после армии подать документы в МИМО...

В клубе кричал и стонал при появлении на экране красивой женщины...

На спор мог сжевать кусок стекла...

Мог отдать последнее...

В прощальный час глухо разрыдался...

В последнем письме сообщил, что устроился на мясокомбинат бойцом скота, потом связь прекратилась, и вдруг вчера от него письмо: «Приезжай в гости. Приезжай немедленно. Мне плохо. Приезжай, а то выпью соляную кислоту»...

— Ну, в чем дело? — раздраженно спрашивает водитель автобуса.

В автобусе уже пусто, все уже вышли, а за окном — ноябрьская тьма и слякоть...

РАССКАЗ НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА

Вчера вечером ко мне на лавочку подсел незнакомый человек, попросил закурить и рассказал следующую историю:

«В 1964 году я окончил среднюю школу и по протекции поступил на металлургический завод учеником модельщика. Позже я понял, что никакой нужды в протекции абсолютно не было. Модельное дело у меня не пошло. Я никак не мог усвоить самого простого чертежа. Я возненавидел модельное дело. Вместо работы я отправлялся на пляж. К вечеру от жары, шума и созерцания женских тел у меня вспухала голова. Ночи были душные, липкие. Осенью призвали в армию. Там я познакомился с дивизионным библиотекарем Вегертом. Его познания смяли меня, опрокинули. У меня стали дрожать руки. Скорлупа лопнула, ветер вздыбил жалкие перья. Космические протуберанцы ударили в дыру. Мир дымился в развалинах. Пыль открывшейся бездны выедала глаза. Из березы сочилась кровь. Я испугался и стал избегать Вегерта. В 1968 году пришло освобождение, и я снова уполз в свою скорлупу. Мне казалось, что за эти годы я поумнел, но это было не так, ибо я снова пришел в модельный цех. И снова все повторилось: полнейшая неспособность, прогулы, пляж, вспухание головы, душные, липкие ночи. Ушел в гараж по ремонту автомобилей. Работа была грязная, платили копейки. Мир стал куском голубого солидола с песком. Лица вокруг — от шофера до начальника — являли собой последнюю степень упадка и вырождения. Ушел в горгаз. После гаража это был рай. Работал один, поборами не занимался, скорлупа постепенно стала наполняться запахами прелых листьев и моря, но через два месяца сблизился с Демерджи и Шапкой, втроем ходили по адресам, вымогали у абонентов деньги, пьянствовали.

Как-то ночью, когда я, пьяный, лежал на диване, кто-то меня растолкал. Я думал, что эта мать и уже хотел выругаться, но это был Вегерт. Он был проездом через наш город и решил навестить меня. Он посмотрел на меня, печально покачал головой и сказал, что ничего рассказывать не нужно — и так все понятно.

Его визит подействовал на меня отрезвляюще, я понял, что качусь по наклонной, порвал с Демерджи и Шапкой и стал вечерами писать стихи, а весной послал их на конкурс в Литературный институт.

Пошли дни томительно-сладких ожиданий.

Получил извещение о том, что по итогам творческого конкурса допущен к экзаменам.

На собеседовании дрожал, потел и мычал.

На экзамене по сочинению попал в жесточайший цейтнот. Ни по одной из предложенных тем решительно нечего было сказать. Был на грани обморока. Наконец, когда оставались считанные минуты, последним усилием воли собрался и лихорадочно составил оду на тему «Мы — советский народ». Нет нужды пересказывать эту жалкую, подлую оду. В самом подавленном состоянии вышел с экзамена. Я уже видел лица экзаменаторов, с отвращением и хохотом смотревшими на мой жалкий и подлый опус. Я уже слышал, как они говорят: смотрите, какой идиот и подлец к нам пришел. Дома Тверского бульвара подмигивали окнами и спрашивали: ну-с, как-ково? Презрительная усмешка скользнула по лицу Пушкина. Но еще более мерзким я себе показался, когда мне вдруг захотелось найти и убить Вегерта.

Но через два дня я узнал, что оценен по сочинению удовлетворительно, благополучно сдал остальные экзамены и стал, таким образом, студентом-заочником единственного в стране вуза.

На крыльях летел домой!

Я дал себе клятву вытравить из себя невежество и подлость, я погрузился в науки, но через два месяца познакомился с местным поэтом Усом, стал посещать заседания литературного объединения «Звоны», стал пьянствовать, петь в обнимку с другими украинские песни, завывать и скрежетать.

Как-то ночью, когда я, пьяный, лежал на диване, кто-то растолкал меня, я думал, что это мать и уже хотел выругаться, но это был Вегерт. Он был проездом через наш город и решил навестить меня. Он посмотрел на меня, печально покачал головой и сказал, что ничего рассказывать не нужно — и так все понятно.

Визит Вегерта подействовал на меня отрезвляюще, я порвал с Усом, напрягся и благополучно завершил свою учебу в Литературном институте, получив диплом литературного работника.

Вакансий не было, продолжал работать в горгазе, снова сблизился с Демерджи и Шапкой, снова покатился по наклонной.

Как-то ночью, когда я, пьяный, лежал на диване, кто-то меня разбудил, я подумал, что это жена (а к тому времени я был женат) и хотел уже выругаться, но это был Вегерт. Он печально покачал головой, а утром взял за руку и повел

меня к какому-то человеку, который и устроил мне протекцию в газету в качестве сотрудника отдела писем.

Я был счастлив, я обнял Вегерта и забормотал слова благодарности, вечной любви и дружбы. Я засуетился в желании каким-нибудь ценным подарком отблагодарить его и человека, устроившего мне протекцию, он упредил, сказал, что ничего не нужно, и я снова обнял его в порыве вечного долга, любви и дружбы.

С головой я ушел в газетное дело, вскоре был поощрен, замечен и уже мог реально надеяться на продвижение, как вдруг однажды среди вороха писем мне попало письмо от неких Козенюков с жалобой на то, что через их однокомнатную квартиру проходит узкоколейка. Черт бы их побрал, этих Козенюков с их письмом! Да мало ли я всяких писем выбросил в корзину, даже не читая! И с этим нужно было поступить таким же образом! Но нет, не выбросил, поехал с проверкой и убедился, что жалоба соответствует действительности: Козенюки откинули ковровую дорожку, и я увидел узкоколейку, по диагонали пересекавшую их единственную комнату. «Вы уж помогите нам, — жаловались Козенюки, — уж куда только ни обращались, но никто не хочет помочь, а справиться самим не под силу — очень крепко забетонировано». Я пообещал им разобраться с этим вопросом, а сам подумал: «Да как-нибудь дотянете и с этой узкоколейкой».

Но ночью, во сне, ко мне пришел Вегерт и с укоризной сказал: «Что же ты так, а? Ведь людям нужно помочь!»

И я стал действовать, звонить, просить, требовать, угрожать, а в результате и Козенюкам не помог, и работы лишился — нажил влиятельных врагов, из газеты выгнали...»

— Да вы, я вижу, не очень-то верите мне, — сказал незнакомец, — а не верите, так давайте сходим, и вы сами увидите эту узкоколейку, это совсем рядом, Сурикова, пять, квартира три!

— Почему же — верю. Да и стоит ли удивляться какой-то узкоколейке в наши дни, — ответил я.

— Да, вы правы, — сник незнакомец. — Вы правы... а вот Вегерта я все равно убью! Это он виноват!

— Из вашего рассказа я никакой его вины не вижу, — сказал я. — Более того...

— Может быть, может быть! — перебил он меня. — И все же пусть он лучше не попадается на моем пути!

Он скрипнул зубами и удалился прочь.

«Б» по-прежнему капризничает. Нужно срочно установить причину. Может, дрекель? Ладно, на сегодня хватит.

Шел пешком. Весенний вечер, звезды, женщины... Ничего, скоро и моя звезда вспыхнет!

Столкнулся с другом детства Владленом. Он по-прежнему в своем стиле: подпрыгивает, подмигивает.

Подпрыгнул, подмигнул, затащил в ресторан.

Интересовался жизнью, работой, о себе умалчивал, отделивался шутками, общими фразами, исчез внезапно, не прощавшись... Клоун!

В кармане плаща — записка: «Приходи завтра вечером сюда же. Влад.»

Клоун! Не тебе указывать, где мне быть завтра вечером!

Фу, слава богу! «Б» капризничает из-за дрекеля! Теперь можно и дух перевести!

Весенний вечер, звезды, женщины... Теперь можно и к Зине зайти.

Шел к Зине, а оказался в «Спартаке». Владлен был уже там. Подпрыгнул, подмигнул, обнял, усадил. Коньяк, деликатесы. Откуда такие деньги, Владлен? Не ответил, подмигнул, предложил тост за нашу юность, вспомнил болоньевые плащи, твист, кафе «Лунный камень»... А чем же ты все-таки сейчас занимаешься, Владлен? Подмигнул и ответил, что занимается подмигиваньем в каком-то органе «У» — дело новое, перспективное, хорошо оплачиваемое...

Предложил и мне заняться этим делом, бросить конструкторство....

Клоун! Не тебе указывать, чем мне заниматься!

Дрекель налажен, но «Б» по-прежнему капризничает. В чем дело?

Шел пешком. Тепло сменилось холодрыгой. Мокрый снег, слякоть, предпраздничная иллюминация, милиционер прохаживается у трибуны, охраняет... Так в чем же дело? Почему капризничает «Б»? Не в курбеле ли дело? Не тут ли собака зарыта? Быстро проверить расчеты, сейчас же, бегом!

Ура! Все дело — в курбеле! Нет подпитки! Ничего, все хорошо, все наладится! Это тебе не подмигивать, Владлен!

Ничего, скоро и наш час пробьет! Скоро и наша звезда вспыхнет! Скоро все шлагбаумы откроются!

Алло, Зина! Готовь свой свадебный наряд! Готовься к свадебному путешествию! Готовься к Франции!

Дремель и курбель в норме, но «Б» по-прежнему капризничает. В чем же дело? В чем причина?

Ночь, предпраздничная иллюминация, постовой у трибуны... Так в чем же все-таки дело? Почему капризничает «Б»? Не в штрикеле ли дело? Не тут ли собака зарыта? Быстро проверить расчеты, сейчас же, бегом!

Ура! Все дело — в штрикеле! Фу, отлегло! Нет, все будет хорошо! Все наладится! Нужно почаще прогуливаться у трибуны — здесь скрыты какие-то силовые поля, возбуждающие творческую энергию! Спасибо тебе, трибуна! Спасибо тебе, постовой! Стойте так всегда! Стойте так вечно! Пока вы стоите, я буду искать и находить! Пока вы стоите, я существую!

Пам - рам - пари - рам, пам - парира - пари - рам.

«Б» величественно возвышается среди повседневного хлама. Некоторые отклонения режима прочности. Нужно форсировать. Время поджимает. Мобилизоваться самому и мобилизовать остальных. Никаких отгулов, больничных, выходных и праздничных. Или — или.

Зина звонит, спрашивает, что будем делать на праздники. Не до праздников сейчас, Зина. Наш праздник еще не наступил, но скоро наступит. Скоро откроются все шлагбаумы. Готовь свой свадебный наряд. Готовься к Франции, Зина.

Звонил Владлен, предлагал выезд на природу. Отказался. Пейте, пойте, маршируйте, выползайте на зеленые лужайки — делайте, что хотите, только меня не трогайте.

Последние испытания. Дремель, курбель и штрикель ведут себя хорошо. Небольшие отклонения общего режима прочности, но это уже мелочи. Кто цепляется за мелочи, тот никогда не достигнет главного. Завтра все решится. Звон звезд и дыхание вечности. Скорей бы утро!

Кожух, кожа, кровь, глаза. Взрыв. Не выдержал защитный кожух. Один убит, другому выжгло глаза. Вместо Франции — тюрьма. Ухмылки тех, кто был против форсажа. Ухмыляйтесь, подмигивайте.

Кожух, кожа, кровь, глаза.

Подписка о невыезде, следствие. Свадьба отменяется. Не нужно стенать, Зина. Не выдержал защитный кожух.

Кожух, кожа, кровь, глаза.

Нужно все брать на себя. Нужно говорить, что я сознательно шел к этому. Раз уж покатилося, так пусть катится до конца. Нужно тянуть на вышку, чтобы побыстрее все кончилось, чтобы побыстрее выйти из этого борделя.

Пусть, пыльная трава, мусорные горы. Падшие роются в мусоре, промышляют, ссорятся, дерутся.

Дремель, курбель, штрикель.

Кожух, кожа, кровь, глаза.

Кладбище. По этой аллее шли когда-то за учительницей в театр. Тогда казалось, что весна будет вечно, что мы никогда не умрем, что учительница живет на волшебном облаке. Вдруг из кустов вышел какой-то человек, вырвал из рук учительницы сумочку и ушел в кусты...

Вот и могила матери. Все заросло, обвалилось, поржавело.

Не выдержал защитный кожух.

Жаркий, пыльный ветер. Женщины судорожно зажимают платья, похожи на кур в ветреный день. Толпа на перекрестке. Кто-то сбит, убит, ушел туда, где нет ничего — ни кожуха, ни кожи...

Мост. Притягивающий блеск и стук вагонных колес под мостом. Надпись на мосту: «Самая серьезная из всех философских проблем — это проблема самоубийства». Ниже: «Х... тебе в горло, чтоб голова не качалась».

Какое-то яйцеобразное здание с вывеской «Орган «У»». Значит, такое учреждение действительно существует? Значит, Владлен не паясничал, не врал? Помнится, в детстве он очень любил сырые яйца, мог сразу выпить десяток...

Не зайти ли? Зашел. Но дальше — нельзя, милиционер. Сказал, к кому, позвонил, пропустил...

— Молодец, что зашел, — сказал Владлен. — Я уже в курсе. Как же ты так, а? Просчитался в куске железа, людей погубил, себя? Ладно, не дрейфь, сейчас все устроим, друзья детства, как-никак, вместе в подсолнухах срали...

Очнулся на диване, но не дома, а в кабинете Владлена. Значит, не сон все это, не бред...

— Поздравляю! — сказал Владлен. — К своему злосчастному «Б» ты уже никакого отношения не имеешь. Учись подмигивать!

Однако и не сволочь, и не клоун: от следствия я действительно освобожден, свободен.

Вышел в «У» на работу. Учился подмигивать.

Учеба продолжается. Теория и практика, зачеты.

Первый выход на свой участок. Поддыргивал, подмигивал, слышал смех. Разве это плохо? Разве это не гуманно — вызывать улыбку, смех, хорошее настроение?

Владлен мной доволен. Обещает отпуск и две путевки в Югославию. Не Франция, так Югославия. Кто бы мог подумать. Готовься к свадьбе, Зина...

Свадебный банкет в «Спартаке» во главе с Владленом.

Самая серьезная из всех философских проблем — это проблема своевременно подмигнуть.

Шампанское все смое: кожу, кожу, кровь, глаза...

В свадебное путешествие, как и обещал Владлен, они отправились в Югославию. По дороге из Белграда в Загреб он убежал в горы, и больше его никто не видел. Зина вернулась одна, были неприятности, из лаборатории пришлось уйти.

Работает сейчас швеей-надомницей от быткомбината: шьет наволочки, носовые платки, мужские трусы.

Работает без брака, продукцию сдает своевременно.

Раз в месяц ходит на вечера для тех, кому за тридцать.

РАССКАЗЫ

РУССКИЙ ПИРОГ

Прохладным майским вечером 1919 года необычный пассажир вылез из поезда Берлин—Москва на Брестском вокзале. Высокий, худой, в черном пальто до пят. Длинный нос, золотое пенсне да шарф через плечо — вот и все его приметы. Нес он докторский саквояж, а других пожитков у него не было. На улице взял он извозчика и приказал: «Отель!» Путь пролег по сумеречной Тверской. Витрины были выбиты и вдобавок не заколочены досками. Над вывеской «Гржимайло и К^о» написано было мелом «Долой саботеров!», в полуразобранном доме копошились тени.

— Издалека пожаловали? — спросил извозчик.

— Издалека, — был ответ.

— Плохо снарядился ты, барин, — сказал извозчик, — вот тебе тулуп.

Иностранец что-то тьякнул и надвинул шляпу на нос. Совсем стемнело. Фонари не горели.

— В интересное время мы живем, — вздохнул извозчик, — охрентильное по бесподобию своему. Голодно, холодно, а ведь говорят, через десять лет всего будет досыта. Царство разума, говорят.

— Что?

— Какой отель прикажете?

— Вези куда знаешь. Лишь бы чище да лучше.

В «Метрополе» все было занято, в «Национале» тоже. Извозчик хлестнул лошадь, и они въехали в Неваляжный переулок. На поблекшем фасаде пансиона «Иверни» висел плакат: «Деникину в морду красным сапогом вдарь!» Заспанный вахмейстер вышел, придерживая свечку:

— Надолго?

— На ночь.

Дверь закрылась.

— Занесло тебя, барин, — сплюнул извозчик и покатил прочь. В темном номере на третьем этаже иностранец залез в ледяную постель и попытался уснуть. За перегородкой стояла дама, на улице лаяли собаки, время от времени хлопали выстрелы. Иностранец задумался.

Что общего между французским атеизмом и русским мес-сианизмом? Вероятно, связь есть. Барон Ленорман — живое тому подтверждение. Жильбер К. барон Ленорман происхо-дил из древнего бретонского рода. Детство провел в роди-тельском поместье, был отдан в иезуитский колледж. В 17 лет порвал с религией и отчим домом, стал шляться по париж-скому дну. Идеи анархизма и безбожия овладели юным серд-цем. В этом, как и во всем прочем, барон преуспел. В 1908 году вместе с другом, беспутным русским графом По-садским, Жильбер гулял по Монмартру. Обсудили политику, выпили пива. За соседним столиком кто-то высказал хри-стианский лозунг. Жильбер вздрогнул, встал и двинул речь. Он яростно атаковал, ссылаясь на Дидро, Лео Таксиля и со-временную науку: «Бога нет! Лишь безбрежная материя и отчаянная борьба клеток. Все остальное мистика и дурь!» Противник был разбит. Из собравшейся толпы вылетел чело-век с бородкой, в шляпе, и картавя представился: «Рачков-ский! Весьма покорен. Путаницы много, но и сермяга несом-ненная. Приходите к нам на чай!» Так Ленорман сблизился с большевиками. Ходил к ним беседовать, выучил русский язык, поверил в миссию Восточной Европы. Позже, в разгар войны, сидя в окопах Арраса, узнал он о революции в Пет-рограде и подумал: «Пора туда».

Поклонник Сада и Аполиннера, сторонник классовой борьбы, левак и фантазер, барон Ленорман демобилизовался в ноябре 18-го и начал активные сборы в Россию. Блестящий породистый интеллигент вылез на Брестском вокзале. Рус-ская авантюра началась.

Наутро Ленорман умылся, побрился и пошел по адресу: Настасьинский переулок, № 5. Лопухий солдатик провел его на 2-й этаж, где помещался кабинет предкома Центрагита, председателя Комитета по религии и атеизму Ан. А. Рачков-ского. Посидев с полчаса, Ленорман был допущен внутрь. Громадная карта России занимала всю стену. Красные стрел-ки атеистической пропаганды шли на Тамбов, Калугу, Киев. Стол был уставлен телефонами. Рачковский кричал в две трубки:

— Какие мощи? Какой Радонежский? Направить в Лавру операторов, лучше Дзигу Вертова, вскрыть мощи, снять фильм и демонстрировать, демонстрировать и еще раз демон-стрировать по всей России на пасхальной неделе! Это вы, ба-рон? — Рачковский вылез из-за стола и бросился ему навстре-чу. — Садитесь! Пейте чай! Берите сахар! Прибыли весьма ко двору! Обстановка — архитрудненькая! Разная сволочь прет на нашу молодую республику. Помещики, фабриканты и клирос всякого рода. Товарищ Ленорман! Засиживаться не

время! Вы — ценный интеркадр! Прямо в бой! Завтра в 8.00 с Казанского вокзала отходит в агитрейс бронепоезд «Красный безбожник». Провырнемся по южной Орловщине. Во главе — ваш верный слуга. Будут спецы по религии, естествознанию и исткомдвижу. Листовки, плакаты, наглядные схемы. Ваш козырь — разоблачение библейских мифов. Безбожие, аморализм и просвещение. Только про Сада — ни гу-гу, — подмигнул, прощаясь, Рачковский. — Мы ценим его роль в борьбе с тиранией, однако при социализме ему делать нечего. Это — исторически обреченный экземпляр. Да-с. Получите у Маши пайку, а завтра извольте быть как штык. Прощайте, милостисдарь!

На улице было пусто, от голода живот сводило. Не зная, где приткнуться с пайком, барон сошел в подвал с надписью «Жар-птица. Клуб унижамбистов».

Там было пусто, царил полумрак, а на освещенной эстраде стоял поэт в цилиндре:

Я — полу-голо,	Когда я чучу
Я — недо-сдача,	Свою ласкаю,
Я — пери-кола,	Чуть-чуть урлычу,
Я — кукарача.	Чуть-чуть икаю.
Я очень чистый,	В России голод,
Я очень грязный,	В России пьянство,
Чуть-чуть речистый,	Но рухнет город
Чуть-чуть развязный.	В пучине хамства.

И полуголый
Пойдет по нивам
С сумой гугольей
Пивец России.

— Не так! — крикнул другой поэт, —

И с туеском березовым по склонам
Своей России милой я пойду,
Склоняя долу лик свой воспаленный,
Дудя в подпaska Леля нежную дуду.

Сосед-матрос затопал ногами: «Прочь!» Поклонница вышла на эстраду, встала на колени, поцеловала бледные пальцы поэта.

— Ну как тебе наша Россия? — произнес кто-то сбоку. Ленорман поперхнулся: жирный тип с волосами до плеч тянул из кружки фирменный напиток «Русь»: самогонка с сахаринном и квасом. — Любуешься на судороги русской души? Но ничего! Скоро проскачут монгольские лошадки наши по притихшим городам вашим, скоро раздастся истошный азиатский крик над бюргерскими норами. И поймете вы: что такое

космический ужас и холод во всех членах.

— Чего пристал к нему, Бегемот? — матрос подвинулся, положил маузер на стол. — Иван Вольный! Балтиец. Брал Зимний. Ученик Бакунина с Кропоткиным, гроза московских проституток. С кем имею честь?

— Барон Ленорман.

— Какими судьбами?

— Добровольно.

— И с какой целью?

— Читать лекции по атеизму.

— Был у вас удивительный мужик, маркиз де Сад. Идею воли двигал он до точки. Но пал жертвой бездушной бюрократии.

— Фонасьен Альфонс Франсуа, граф де Сад, более известный под именем маркиза де Сада, — важная тема моих исследований.

— Тогда иди за мной, браток! Покажу тебе здешний садизм, — сверкая штиблетами, играя маузером, матрос пошел вперед, за ним — барон. Прошли по коридорчику, поднялись по скрипучей лестнице. Комнатка с зелеными обоями, полуспущены жалюзи, широкое канапе. На нем сидели Варя с Галей. Варя, в чем мать родила, играла на гитаре; Галя, в исподней юбке, подпевала:

Что ты, миленький, заносишься собой?

Ты хорош, так не гоняюсь за тобой.

С тобой, миленький, не зиму зимовать,

Расхорошенький, не два года гулять.

— А ну-ка, Галка, — сказал Вольный, — позови подруг! У нас гость. А вы садитесь, барон!

Вольный велел дамам замолчать, положил маузер на стол и зажег свечу:

— Начинаются пляски плоти! Вакханалия чувств, анархия половых явлений! — Он приказал им развернуться и стал переходить от одной к другой, поочередно выкрикивая имена:

— Це Варя, це Галя, залеточка Даша, Парасковья-дролечка, а с Лушечкой не спорится, — потом пошел по новой. Ленорман подумал: «Французы говорят, а русские доводят до конца».

— Прощаюсь с девочками! — крикнул Вольный, подходя к Варе, — пора на юг! Альянс с большевизмом пошел вкось. Напрасно брал я Зимний. Ильич велел отдать столицу напрачь! Давай, барон! Покажь размах Европы.

Придя в отель, ошарашенный Ленорман достал бумагу,

карандаш и начал излагать удивительную историю маркиза де Сада по спецпросьбе анархиста Вани Вольного.

... Есть люди, жизнь которых отдана идее. Идея подчиняет тело, которое летит, подобно метеору, самовластно. Таков де Сад (1740—1814), борец и фантазер. О детских годах его ничего неизвестно. Юношей принял он участие в семилетней войне, затем вернулся в Париж, там женился он на девушке из знатного дома, которую вскоре бросил. В 1767 году он получил все титулы отца, дипломата Жана-Батиста-Франсуа-Жозефа, и подал в отставку. Спокойная жизнь уготована была ему, но недолго пробыл он в родном поместье. И вот — Эльзас. Он ехал по проселочной дороге с денщиком, когда взору его предстала девица легкого поведения, некая Марта Келлер. Сидя на обочине, кушала она вишни: губки ее, все в вишневом соку, привлекли внимание экс-офицера. Он спешил и пригласил ее в таверну. Де Саду не было еще тридцати, но ветеранский шрам рассекал его щеку, а правый глаз все время дергался. Представьте себе харчевню того времени, грязный антураж, очаг, жаровню, стулья, и молодой философ, опередивший время лет на двести, решает, что бы натворить, как трансцендировать устои? Приходит вдохновение, ведет он даму наверх, но не имеет, а сечет. По странной логике людей, это преступление большее, чем убийство тысяч на войне, но граф знает твердо: 1770-й на пороге, префекты короля теряют силу, ничто не сдержит натиска безумной воли одиночек. Его хватают, кидают в замок Сомюр, затем в Пьер-Энлиз. Там он скребет на листках свои эссе, но вскоре их сжигает. Досрочная свобода. Неугомонный дух толкает его в новую проказу.

Что такое кантариды? Если выварить брюшко нескольких тысяч так называемых «шпанских мушек», гнездящихся в кустарниках Пиренейского полуострова, то получается варено, приятное на вкус, но необычное по своим эффектам. В малых дозах оно лечит радикулит, в больших, если принимать вовнутрь, вызывает необузданную похоть и раздражение конечностей. Недолго думая, маркиз набивает мушками конфеты и все это несет в публичный дом. Мотивы его действия осознанны: это последовательный атеизм. Раз бога нет, то все дозволено, говорит он на сто лет раньше Достоевского. И вот — финал: окраина Марселя, лупанарий мадам Тюрбо. Объевшись мушек проститутки рвут на себе одежды, сигают на панель в чем мать родила. Многие ломают себе ноги. «Теперь-то я повешу тебя, разнузданный милоч!» — клянется марсельский префект. Маркиз бежит на Апеннины. В Италии его хватают. Король сардинский швыряет его в крепость Миолано, откуда он бежит опять. В 1777-м де Сад схвачен

под Парижем, брошен в замок Винсенн, переведен в Экс, где начинается процесс. Доводы его о вседозволенности и тотальной воле обозляют суд. Двенадцать лет маркиз сидит в Бастилии, Винсенне, Шарантоне. В застенке создает он романы беспрецедентной дерзости и гениального предвосхищения. «Юстина», «Жюльетта», многие другие. Был ли хоть один тогда, кто не покрутил бы пальцем у виска? Сейчас мы судим иначе. 20-й век раскрыл величие Сада — пророка и анархиста.

Мысль его такова: системы человека и космоса расходятся и застывают в перпендикулярной связи. Человек вышел из повиновения богу, но назад пути нет. На нем теперь замкнулись иные силы. Последовательный эгоцентрик совершает преступления. Сила перемен влечет его от спорта к сексу и от страсти к богу. Все в жизни есть игра и миф. Любовь — игра, и творчество — игра, и садизм — игра, и революция — тоже. Надо видеть дистанцию и знать искусство, а главное — предвосхищать собственную смерть. Так думает и действует де Сад, так резонирует его герой-бандит, прежде чем бросить даму в кратер Этны.

Интересно, что искушенные добрее к людям. Освобожденный революцией маркиз работает в ревкоме в Сен-Дени, где избегает жертв, тогда как якобинцы рубят головы. Он публикуется, его сажают. В одно из кратких пребываний на свободе де Сад подносит на блюде Бонапарту «Жюльетту, или Превратности греха». Иллюстрации достойны текста. И что же? Великий фантазер Наполеон ведет себя как пошлый буржуа: маркиза бросают в сумасшедший дом. И по сей день так называемые прогрессисты — по большей части стыдливые, двуличные создания. Так мне сказал мой друг, анархист Иван Вольный. Секс — пробный камень всех революций. Но вернемся к де Саду. Годы заключения в Шарантоне — возвышенный финал неподчиненья. Маркиз пишет романы, ухаживает за душевнобольными, ставит с ними спектакли. Он сдержан, вежлив, требователен к себе и к тем, в ком, как он считает, соединились две души. Он носит серые чулки, лакированные туфли с пряжками, следит за париком и парфюмерией. Его любовнице — 13 лет, дочь прачки обожает старика, который с ясным взором идет навстречу смерти.

В 1814 году, в возрасте 74 лет, де Сад засыпает вечным сном. Его череп вскрывают, но фенологи не находят отклонений: мозг чист и извилист. Мюссе считает, что Сад и Байрон — главные, кто возвестил новую эпоху нашего сознания.

... Барон поставил точку и поспешил на Казанский вокзал. «Красный безбожник» стоял у перрона, пуская мощные клубы дыма. Во время мировой войны он относился к штабу

русской армии и назывался «Архангел Гавриил», теперь он был приписан к Центрагиту. «Красбез», как называли его свойски, состоял из пяти вагонов: трех купейных, одного салона и броневгона, на случай атаки. Купе были просторные, с душем, обшитые красным деревом, салон в багровом плюше приспособлен для показа кинофильмов. Посередине стоял рояль. Рачковский, с красным бантом на желтом френче, открыл летучку:

— Товарищи! Нашими руками закладывается фундамент грядущего строя, основанного на расширенном производстве и разумном потреблении. Мы мозгляки, и кстати! Мы трудолюбивые люди, но мы переделываем мир. Все есть материя, и мы кроим материю. У нас присутствуют: французский атеист барон Ленорман, венгерский писатель Кош, путиловский рабочий Мордовой и латышский стрелок Хрупиньш. В программе летучки: закрытая лекция о маркизе де Саде, читает барон Ленорман, «Лунная соната» — играет Маша, «Варшавянка» — поем все хором. Затем — диспут на религиозную тему и выборы местных органов пропаганды.

После летучки Рачковский пригласил Ленормана к себе в купе пить чай. Ложечка звенела в стакане, Жильбер любовался серебряным подстаканником с царским вензелем, Поезд мчался в охрентельную глушь срединной России. Временами паровоз гудел, в салоне пели хором «Вихри враждебные». Ленорман почувствовал неотразимую силу бреда, наивную страстность религии братства.

— Вот, — сказал Рачковский, — они будут жить хорошо. Я не увижу, но Машенька увидит победу всемирной коммуны. Им будет счастье, будет труд, будет свобода. Прежняя история человечества покажется им жутким, непроходимым мраком. А мы, барон, оба из старого мира. Моя мать — тульская дворянка, отец — местечковый еврей. Они встретились в Женеве и произвели меня на свет. Кто мог предполагать! А вы...

— Один из Ленорманов был гильотинирован в 03-м, но я за перемены...

— Такие вот неслыханные метаморфозы, ... взгляните на поля: здесь все будет иначе... А ваш маркиз, кстати, был неглупый парень, хоть и страшный подонок. Если спишь с женщиной, зачем ее стегать? А теперь — прощайте. Мне надо писать отчет самому Войцеховичу. Распорядок дня — в агит-салоне.

День прошел незаметно: в диспутах, чаепитиях, разговорах о братстве. В полночь разошлись, Ленорман закурил, задумался под стук колес.

Тук - тук,

Тук - тук,

Тук - тук, — стучали они... Он задремал. Привиделся ему божественный маркиз, бежавший в Россию от абсолютизма и устроившийся лектором к Рачковскому за пайку хлеба и кусочек сахара. За связь с комсомолкой де Сад был судим и исключен. Сидя в харьковской психушке, он понял корни трагической неустойчивости порядка на ледяных просторах этой страны... Тут кто-то заскребся в дверь. Ленорман отворил. Перед ним стоял молодой моряк:

— Браток, за мной погоня! Пойми ты, Ленорман Иванович, — зашептал Вольный, — в Москве анархии хана. Пришлось тикать. В Серпухове забрался в ваш бронепоезд. Лишь бы до Курска. А там — зажжем пламя освободительной борьбы. Большевики коварно захватили власть. Трагедия русской революции — в том, что ничтожнейшая фракция оседлала могучее движение. Они губят его, а что делать? С большевиками? Ни за что! С белыми? Ни в коем разе! Выход — один: народная война с красным и белым хищником. Это — гиблое дело. Мы умрем. Победят негодяи, но ненадолго. Лет на сто. Великое дело анархии с нами не кончится. Последуют годы террора и замешательства, но карму духа нельзя прижать к ногтю.

Ленорман залюбовался им: невысокий, плотный, Вольный был по-кошачьи гибок, убеждал страстно, рассекая воздух ладонью. Тельняшка прилипла к мощной груди, смоляная прядь упала на один глаз. То, что он говорил, не было в новинку барону, специалисту по вольнодумию.

— Вот вам текст о маркизе, — сказал он, — пользуйтесь.

— Спасибо! Мировая анархия не забудет вас, — матрос отдал честь и был таков.

...Полгода спустя Иван Вольный сидел перед печью, пил чай и сушил портянки.

— Садистам — низкий поклон, — приветствовал он исхудавшего барона. — Марья, сажай гостя за стол, — обратился он к румяной девке в кожане и португее. Та нарезала хлеба-сала, плеснула в стакан сивухи, пододвинула барону...

То — после, а пока что, пыхтя и сигнала, «Красный безбожник» подходил к платформе уездного городка Глухова. Их встретили Интернационалом и повели в собор, на митинг. Программа была обычна: вступительное слово — Мордовой, соната Листа — Марья Зайончковская, творчество Лео Таксила — товарищ Ленорман, и подведение черты — Рачковский. На амвон взобрался Мордовой:

— Товарищи! Восемь лет назад на станции Потапово скончался Лев Толстой, борец с авторитетом церкви, титан и гражданин. Чем почтим его память, товарищи? Одним: без-

удержным пропагандистским залпом из всех орудий! Дадим пли по телу церкви! Откроем эру атеистического мышления! Нам все нипочем, и на всем мы ставим гигантский вопросительный знак, а рядом с ним — кукиш!

— Ближе к теме, — подсказал Рачковский.

— Совершается могучее центростремительное движение, братцы, — вымолвил тогда Мордовой. — Все упрощается до предела, товарищи! Одна власть, одна башка, одно дело. Все остальное — к черту. Хватит с нас столетий шатаний и разброда.

Рачковский ерзал крайне недовольный, а затем поднял руку:

— Позвольте! Это несерьезно, товарищи! Причем тут Лев Толстой? Получена шифровка: в Берлине совершено злодейское убийство! Кровавая собака Носке велела расправиться с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Товарищи! Мужики уездных городов! Ростки нового пробиваются и в этой гнусной глуши! Дают трещины устои вековых традиций! Все выше и выше, шире и шире катятся валы очистительной бури, все больше набирает скорость локомотив истории. Мы живем в удивительное время, товарищи! Даже ребенку ясно, что бога нет, что пролетарий — двигатель прогресса, что главное — борьба классов и созидательная активность. Так давайте же за работу, то-ва-ри-щи! Выметайте к черту всю нечисть и хлам: из сознания, из жизни! Бодрым шагом шагайте к лучезарному царству коммунизма, раю на земле! Дерзайте, пойте, сгущайте! Кровь наших мучеников не пролита зря!

Раздались аплодисменты. Все дружно запели «Марсельезу». Этюд Листа был пропущен, лекция о Таксиле тоже. На амвон вылез Хрупиныш.

— Я выступаю с почином, товарищи! Даешь рейд под знаменем безбожия! Беру обязательство прочесть лекцию по комтруду в глухой деревне Мартыновке. Кто больше?

Рачковский встал с уточнением:

— В нашем списке — деревни Мартыновка, Шалымовка и Лобановка. Кто встречный?

Барон почувствовал веление судьбы и поднял руку:

— Даешь Шалымовку!

... Село Шалымовка, о сотне душ и небольшой усадьбе, лежало в сорока верстах от Глухова. Здешняя церковь была лишена реликвий стараниями местного актива, усадьба взята под охрану государства. В телегу с Ленорманом сел бывший пастушонок Федька, теперь секретарь шалымовской комячейки. Мужик Кондрат натянул поводья, ругнулся на коня, и они поехали. Грязи было предостаточно, суровые ели стояли по краям дороги. Барон увидел, как далеко его заносит.

Приехали. На Ленормана смотрели с десятков деревенских баб, пара подпасков, два солдата-инвалида да графская горничная Параша, временно назначенная хранителем музея русского феодализма.

— Французский социалист, барон Ленорман, — представил его Федька.

— Монтеस्कье, — начал Ленорман и осекся. Стоя в телеге, перешел на французский. — Ничего, друзья! Такова природа. Мы все уничтожаемся и выстраиваемся в новые цепи элементов. Живительное, вечное начало!

Одобрительный ропот прошел среди мужиков. Полуслепой Никифор подошел к барину и поцеловал ему руку:

— Ишь, барон, да ты и вправду барин, — бормотал он, — щас мы тебе баньку растопим, щас я Парашу кликну.

Мужики долго еще стояли на лужайке, о чем-то судачили. Никифор затопил баню, Параша отстегала барона веником, накинула на него халат Ильи Степаныча, с войны 1812 года, и отвела в опочивальню, на кровать с балдахинном. Жильбер заснул непробудным сном в объятиях этой мягкой коровушки.

Настало утро. Прокричал петух.

— Товарищ Ленорман, — рыдал смятенный Федька, — агитпоезда нема! Казаки окружили город. Спасая жизнь товарища Рачковского, эшелон с боем ушел на север. Приказ оставшимся: окопаться, уйти в подполье и ждать сигналов центра.

Так настала долгая шалымовская ссылка. Постепенно все забыли, что Жильбер — агитатор, а помнили одно: что он барон.

Он вставал поздно, часов в десять, распахивал балдахин, сладко тянулся. Надев шелковый халат Ильи Степаныча, в войлочных пантуфлях шаркал по комнате. Смотрел, как петухи во дворе спорят, как мальчишки на дерево залезают, как бабы промеж собой ругаются. Гонял шары в старинной биллиардной, думал о своем. Попив кофию, поев каши, сел он у печки и принимался за чтение. Полюбил Пушкина, Тургенева. Это были офранцузенные бары... Париж отсюда воспринимался как некий бред, тянуло на покой. Днем спал, иногда с Парашей. По вечерам раскладывал пасьянс. Когда наступил июнь и подсохла грязь, он начал совершать прогулки. Вооружившись тростью, надев барские галоши, он выходил на опушку леса, вдыхал воздух с полей. Этот период он запомнил, как счастливейший в жизни. Он был свободен и спокоен: прибыло сил. В моменты некоего прозрения просек он разницу укладов, великую несовместимость Запада с Востоком, жертвой которой пали русские дворяне. Оценил

он размах здешнего безрассудства: идти до дна, пока не зарыбит тебе в очи. Вот так. Точка.

В июне ребята взяли его по ягоды. Пришла вся лихая компания: Лушка, Мишка и Антошка. Босоногие, белобрысые, встали они под окном.

— Мусью Ленорман, айда по ягоды!

Параша дала ему лукошко, обмотал он шею шарфом, надрывнул шляпу и пошел вслед. Тропинка вилась в густой траве, среди берез и елей. Нечто дикое, тайное он ощутил в глухом лесу, в компании милых дикарей. В траве попадались там и сям земляничины, в сосновых иглах водилась черника. Ребята потешались над подслеповатым барином, вынимали ягоды прямо из-под ног его. «Зря, — подумал Ленорман, — не пошел один из предков моих на службу к царю и не осел в одной их этих Шалымовок... А может и не зря, с учетом поворота дел». Проходив часа два по лесу, вышли они к излучине Ворсклы. Ленорман лег на солнышке, положил шляпу на лицо, задремал.

В далекой голодной Москве засел штаб неутомимых атеистов и слал депеши фронтам гражданки. «Демократия — выдуманное начало, — решил он, — она выражает некую наклонность души, да и то — определенных народов. Если у народа нет такой потребности, зачем она ему? И вообще, все, что они здесь имеют, — выдуманное, ибо привозное». В этот момент аэроплан показался над лесом. Сделал несколько кругов и исчез. Не понял Ленорман: белый это или красный. Однако это напомнило ему, что здешняя идиллия имеет свои пределы.

Действительно, через пару дней спокойная жизнь была нарушена. Сперва раздалась стрельба, потом конское ржание. Несколько всадников въехало во двор. Дверь в горницу раскрылась. Это был постаревший, обветренный, старый знакомый, граф Посадский, в нелепом одеянии подпоручика.

— Вы, подпоручик? Почему? — спросил Ленорман.

— По кочану! Щи мои хлебаешь? С Парашей спишь?

— Послушайте, граф...

— Не надо. Не иначе, как пакости Федора. Придется повесить. Идемте, — сказал Посадский, — я покажу вам интересный вид.

Они вышли на дорогу, ведущую в поле. За спиной доносились истошные вопли Федьки. Отмахнув версты две, поднялись они на древний холм и сели.

— Курите! — Посадский предложил барону турецкую сигарету.

Солнце стояло уже высоко. Жучки-паучки бегали в траве, жаворонки кувыркались в небе. В низине белели стены

Игнатъевскаго монастыря. Видно было за десятки верст. Масивные, вековечные леса и холмистые, бесконечные дали.

— Мои предки, — молвил Посадский, — били татар на этих рубежах. Здесь был форпост русской нации. Но что вы знаете про это? У вас — худосочная Европа, у нас — Россия, загадка святая. Вон на том маленьком кладбище, у монастырской стены, похоронены мои предки. Поместье это даровано нам при царе Алексее Михайловиче. Здесь жили мы, худо-бедно ли, почти три века, вместе с народом своим. Но вот настало безумное время. Все мы подготовили его. Все мы подпевали новаторам, политикам, горлопанам. А что теперь? Царство фраз, кровавой истерии. Свора хищников набросилась на отчизну и стала рвать ее не по годам разросшееся тело. Иноземцы спелись с чернью, а мы должны исчезнуть. Но не лучше ли исчезнуть по-дворянски, испытывая смерть?

Лежа небрежно, нога на ногу, он достал револьвер, повернул патрон, подал Ленорману:

— Ну как, барон?

«Увольте», — хотел сказать Ленорман, но сдержался.

— Стреляйте, барон, если есть в вас хоть доля чести.

— Все дело в предрассудке чести? Ну что-ж... барон приложил револьвер к виску и спустил курок. Щелчок раздался: он сидел, как ни в чем не бывало.

— Мой черед, — сказал Посадский. Взял револьвер, подмигнул, и, как был, нога на ногу, выстрелил себе в ухо. Эхо отдалось в полях, подпоручик испустил дух. Румяный, в белом кителе, лежал он на холме с застывшим взором. «Вот и свиделись! — подумал французский гость. — На великих просторах русской возвышенности. Граф П. и барон Л. Ну да что там! Историю не остановишь!» — он поцеловал Посадского, положил ему фуражку на лицо и пошел, не оглядываясь, на Запад, где носилась без устали по деревьям бригада Ивана Вольного.

Вот что рассказал потом перед расстрелом один из бандитов Вольного, взятый в плен спецгруппой Хрупиньша:

— ... Пришел он в наш отряд поздно. Встретил его командир как друга. Посадил чай пить. Потом залезли они на одну полать с Марьей-наездницей и вышло у них нечто вроде равноправного сожительства.

— Тотальное тройное братство? — уточнил следователь.

— Да нет, хозяйство, что ли, совместное у них было. Так и сражались они втроем, пока не напоролись на превосходящие силы противника. Засели они в крайней избе, обнялись на прощанье и стояли насмерть, пока не кончились все патроны...

КЛЮЧ ЗАБВЕНИЯ

— Прощай дочурка! А если не вернусь, то помни, что папа крепко любил свою Родину — великий Советский Союз! — комиссар прижал дочку к груди. На всю жизнь Вилена запомнила его крепкие руки, белоснежную улыбку и особый запах портупейной кожи: образ отца.

Шел 1927 год, и молодой выпускник краснзнаменной Академии Ротченко уехал на юг Туркестана, бить басмачей. Собрал чемоданчик, сложил книги по политграмоте и уехал на Кушку. Там его и засыпали горячие пески. Вернее, дело было так. Однажды выехал он со своим отрядом на спецзадание. Рябой агент Селим сказал, что караван из Мерва везет оружие. Они напали. Завязалась перестрелка. Бандиты бежали врассыпную.

Ротченко долго гнался за рыжим одноглазым басмачом. Солнце клонилось к западу. Он очутился в незнакомой местности. Здесь все было как наяву: пески, барханы, свист ветра. Варан пробежал под копытами скакуна, мелодичная трель пронеслась и затихла. Ротченко задумался: какая обнаженность стихий, какое одиночество пробега в этой проклятой Туркестанской пустыне! Недаром поговаривают чурки, что здесь ты напрямик выходишь говорить с Аллахом.

Тут раздался выстрел, пуля отрубила ему мочку уха. Бандит поскакал прочь из-за соседнего бархана, но далеко не ушел: Ротченко срезал его на скаку.

Бандит был жилист и увертлив. Большого труда стоило связать его и швырнуть через седло.

— Не убивай меня, скажу тайну! — взмолился он.

— Ну, говори!

— Есть твоя дети?

— А тебе что?

— Если искупаешь твоя дочка в Черный ключ, то родит она богатырь.

— Этим нас не удивишь, — ответил Ротченко.

— Твоя много-много знай, секрет вечной юности знай, если выпьет вода Черный ключ.

Комиссар задумался:

— И где оно такое водится?

— Твоя немного руки отпускаяй, я говори.

Они поехали. Впереди с завязанными за спиной руками, скакал басмач. За ним, не спуская глаз с сутулой спины, — замполит Ротченко. Проехали они верст десять, и тут взору их предстала скала, вся выветренной породы, и в ней — еле заметное отверстие. Спешились. Вошли. Ледяной ключ бил из расщелины, наполняя своды ласковым журчанием.

С первым глотком Ротченко понял: он не комиссар.

Со вторым глотком: он — ничто.

С третьим он сказал:

— Бери меня с собой, Анвар!

В Джелалабад они въехали вдвоем — кривой басмач Анвар и голубоглазый басмач Нуреддин, что значит «свет божий». Свет божий влился в него с тремя глотками живой воды. Ротченко не помнил более своего комиссарского прошлого. Произошел случай тотальной амнезии. У него совсем отшибло память.

Дальше было совсем просто. Настало утро. Пропел петух. Он лежал в прохладной постели и цапал разметанные простыни. Рука его нащупала гладкое дамское тело. «Вера?» — хотел сказать он по старой памяти.

— Меня зовут Файруз, — сказала персиянка. Вошла вторая дева, распустила шальвары, и он почувствовал себя в глубине веков.

Потом он вышел во двор. Горбатый старец подал ему кок-чай, он сел, скрестив ноги, и с важностью выпил.

В полдень пропел Муэдзин, он повалился на коврик и начал отбивать лбом молитву.

Вечером пришли нукеры, поочередно целовали ему руки: Мирза Нуреддин, гяур не дремлет. Пора в поход.

Через месяц произошла стычка у селения Кыр-Куль. Повстанцы были разбиты. В плен взяли: кривого басмача и богато одетого джигита, очень похожего на Ротченко.

Сколько ни били его, он упорно молчал.

Дали ему вышку за предательство.

— К стенке, гнида! — приказал помощник командира Чударь.

Ротченко встал к стенке, закрыл глаза и начал читать первую суру Корана.

ЛУНА - ПАРК

Весной 13-го двое русских гуляли по аллеям Луна-парка в австро-венгерском городке. Одутловатый, лет пятидесяти — дядя, худой, лет тридцати — его племянник.

— Хороший парк, — сказал Оплетов-старший, — в нем — суть Европы. Умеют отдыхать, работать, жить. Смотри, как безмятежны, как знают толк в еде и пиве. Надушенные дамы, чиновники с моноклями, детишки с леденцами. Но только — надолго ли сия прекрасная житуха?

— Иван Петрович, я могу заверить, что ненадолго. Все эти шапито, пивнушки, карусели — взорвутся ко всем чертям. И знаете...

— Что?

— Мы постараемся не мешкать.

— Уж если это будет, — Иван Петрович закурил, — то можно лишь догадываться, какая страшная судьба нам уготована. Мы, поколение восьмидесятых...

— Вы прозевали все! — племянник сел верхом на деревянную лошадку и двинул речь: — Европу и Россию надо поставить на дыбы, железной лапой встряхнуть от спячки, направить в русло новой цивилизации взамен мещанского болота. Вопрос — чья власть. Все остальное — болтовня. Вот если мы захватим власть в России и Европе, то это будет дело! Мы установим диктатуру сознательного авангарда масс — впервые в истории. Поэтому — пускай буржуи веселятся, пускай гуляют. События не за горами!

Племянник с дядей закончили прогулку недалеко от Луна-парка, в известном заведении мадам Вайншток. В компании грудастых трансильванских немок они напились пива, шанса. Обоих развезло. Обнявшись, пошли на выход.

— И все же, — шеннул племянник дяде, — мы на руинах этой старой потаскухи Европы воздвигнем новый строй, такой, какой не снился всем вам. И это подведет черту под нашим разговором.

* * *

Спустя шесть лет, заснеженным февральским утром 19-го года, голодный и озябший дядя был принят Начпродупром Московской губернии С. И. Оплетовым.

Племянник сидел за министерским письменным столом, весь в кожаном скрипучем обмундировании, недвижим и суров.

— Садись, Иван Петрович!

— Так я же дядя твой, Сережа.

— Мы все здесь граждане. Давайте лучше к делу.

— Я голоден, Сережа. Мне нечем топить буржуйку.

— Вот вам талон. Получите вязанку дров, буханку хлеба и пол-сеledки. Засим прошу меня не беспокоить. Иначе—кумовство. И вот что: о наших европейских прогулках — забудьте. Все это — лишнее.

Дядя благодарит и тихо покидает кабинет. Племянник подходит к окну и смотрит на улицу: Москва застыла, сугробы не убираются. Он что-то вспоминает, беззвучно шепчет губами... и жесткие глаза под линзами очков на миг смягчаются.

— Да, господа, — бормочет С. И. Оплетов, — социализм— это вам не Луна-парк. Это не Тиволи, не Тюильри и не катанье на тройках в масленицу. Это — тяжелая, упорная работа.

Его глаза тускнеют, он садится в кресло и звякает колокольчиком:

— Танюша, следующего!

НА ДАЧЕ

Прекрасным майским утром 1937 года Иван Тарасыч Жмойда вылез из пассажирского поезда «Курск — Москва». Зажмурился, чихнул и поспешил в Наркомтяж. В руке — потертый портфель, под мышкой — рулон, на голове — тубетейка.

Вот и Наркомтяж. Большие кованые двери, укромные пассажи да вереницы служащих — примерных клерков. Иван Тарасыч докладывает секретарше, и через полчаса он на ковре у Главного. Огромный кабинет, портреты Сталина, Орджоникидзе, Ленина. За необъятным письменным столом — сам Главный, бритоголовый, в кителе.

— А, Жмойда... здравствуйте... ну, как там Аномалия?

— Под Курском все спокойно. Возводится 4-й блок.

— Как встречный план?

— Стараемся вовсю!

— Как новый трудовой почин?

— Работают как звери!

— Дадим металл?

— Досрочно!

— Но не забудьте про возможные диверсии. Идите.

— Есть, слушаюсь... — Тарасыч пятится из кабинета. Снова — коридор. Совслужби. Министерская возня. С вахтерской он звонит домой: «Дудуся, я прибыл. Я пряменько на дачу, жду вас завтра».

Постригшись, побрившись, побрызгавшись «тройным», Иван Тарасыч отоварился в буфете колбасой, скакнул в трамвай и до Каланчовки... Хорошая погода, радостные лица... Колхозники, красноармейцы, пионеры... «Да, раннее тепло настало в этот май», — бормочет Жмойда.

Сел в пригородный поезд, уложил авоськи, развернул «Металлургиста»: «Даешь прокат... троцкистские диверсии на пятой домне... страна и сталь...» Он засыпает, зажав коленями авоську с колбасой.

Проснулся, когда поезд подъезжал к Балашихе. Схватил авоськи, выскочил. Состав умчался... Пустынная платформа, кусты сирени и надпись «Путеец, следи за рельсами!»

Иван Тарасыч проследовал по тропке вдоль путей, свернул к заборам и углубился по Чапаевской... Дачный сезон не начался, народу было мало: сосед Кузьмин, сосед Батурин — и оба возились в огородах.

Но вот и дача: Котовского, 17. Большое двухэтажное строение, участок с полгектара, сосны, грядки, новенький сарай. Тарасыч снял толстовку, тубетейку, протер затылок и поставил самовар. Нарезал колбасу, налил стаканчик водки, выпил, закусил, расслабился.

Терраса... тихо... Заходит солнце. Его лучи скользят по соснам, по Жмойде, по крыше дома... Иван Тарасыч у себя на даче... Да, домну завершают, сам Главный принял... все хорошо... Так что же все-таки свербит в мозгу замначо по прокату? Как будто некое предчувствие конца...

Лег спать... но мучали кошмары. Мартены, домны, блюминги и выкладки по плану стояли в очах. Над ухом звенел комар и почему-то имя Сталина печаталось в мозгу.

Уже под утро, когда Иван Тарасыч расслабился, заснул, чья-то нежная рука потеревила его плечо:

— Вставайте, Жмойда!

— А?... что? — протерев глаза, увидел он румяного майора НКВД и понятого — соседа Кузьмина.

— Вставайте, гражданин! — уже построже произнес майор. — Проследуем!

У калитки их ждал черный автомобиль, за рулем сидел шофер в кепочке.

— Который час?

— Пять утра.

Щипая себя за мочку уха, Иван Тарасыч протиснулся на заднее сиденье, и черный автомобиль повез его навстречу новой, неопишуемой жизни.

Я УБИЛ ОРЛИЦКОГО

В начале января 40-го года агент Куваец был вызван к Петровому, начальнику 7-го оперативного отдела.

Полковник Петровой, обритый наголо детина в сером френче, сидел за письменным столом, заваленным делами.

Жуя привычный «Беломор», полковник встал, пожал агенту руку и принялся ходить по кабинету, поглядывая исподлобья на карту мира, истыканную звездочками и флажками.

— Как дети, как жена?

— Отлично.

— А сам?

— В порядке.

— Смотри. Ты должен быть в хорошей форме. Международные дела не позволяют, того. В Европе — война. А кое-кто пытается использовать все это.

Полковник раскрыл большую розовую папку.

— Смотри! Мы поручаем тебе особо важное задание. Предатель Рудольф Орлицкий должен быть уничтожен. До середины лета. Это приказ.

Агент Куваец пролистал досье: Рудольф Иванович Орлицкий. Родился в 1897. Окончил Петроградский университет. С отличием. В 1918 вступает в партию, направлен на работу в Чека.

Умен, честолюбив. По службе продвигался быстро: к моменту срыва в 37-м был резидентом в одной из важных европейских стран. Весной 37-го он отказался выполнить приказ — убрать изменника Гольдфарба. На явку не пришел, ударился в бега и выплыл год спустя в Нью-Йорке. Начал писать антисоветские пасквили, компрометировать коллег, дошел до лозунгов свержения Советской власти.

— Все понял? — подвел черту полковник.

— Так точно.

— Иди.

Куваец вышел, а через пару месяцев в Нью-Йорке объявился словацкий коммерсант Негойла. Оставив вещи в маленьком отеле, Негойла без промедления направился по адресу. Дорога, выверенная до сантиметра, привела его в стрипбар Джо Лугано, недалеко от 5-й авеню. Хозяин ответил на приветствие и изложил Негойле обстановку: Орлицкий, сменив три адреса, осел в пансионате «У Китти», в трущобах Бронкса. Неразговорчив, нелюдим, домой приходит в 5 пополудни и что-то пишет.

Негойла-Куваец вернулся в отель и зарядил два дюжих кольта. Потом, поднявши воротник, надвинув шляпу, под сырым дождичком пошел искать пансионат «У Китти».

Ну вот и он! Поднявшись без лифта на 7-й этаж, роняя капли на ходу, нашел что надо. Бесшумно отомкнувши дверь, на цыпочках проник в дешевый номер: спиной к нему сидел сутулый человек в подтяжках и что-то писал при свете настольной лампы.

— Здорово, Орлицкий!

Сидевший резко обернулся:

— Я не Орлицкий! Я — Джим Мак...

— Не ври, предатель! Сейчас ты сдохнешь!

— Послушай, Вася, — в глазах Орлицкого был ужас, — я все тебе скажу.

— Что именно?

— Я вынужден был сделать это... В Москве расстреливают всех... и ты... тебя ведь тоже.

— Что?

— Погоди. Давай закурим! — трясущимися пальцами Орлицкий вынул пачку «Честерфильда». — Ты помнишь, как в Академии мы часто говорили о дружбе, о верности?.. Ты помнишь, за выполнение задания, в 29-м, нас наградили красным патефоном Владимирского завода и кучей Апрельевских пластинок?.. Мы танцевали с нашими девчонками и были счастливы...

— Короче, Орлицкий!

— Теперь все кончено! Террористическая власть в Москве убила надежды рабочих мира. Со Сталиным и нынешней кремлевской кликой мне не по пути...

— Да как ты смеешь, падла! — мозолистые пальцы Негойлы поползли в карман плаща, но Орлицкий оказался малым проворным: стремительно засунул руку в ящик стола и пламя маленького пистолета ожгло ребро пришельца.

Поморщившись, Негойла вытащил два кольта и залпом снес полбашки предателю. Потом обвел комиату мрачным взором: вот так-то легче!

На улице он швырнул оружие в помойку и осторожно поковылял на северо-восток.

Уже за полночь он ввалился в стрип-бар Джо Лугано, держась за правый бок. Пуская кровавые пузыри, промолвив: «Я убил Орлицкого!», он тут же упал без дыхания.

ДОМ МОРЯКА

В конце 70-х в порту Новороссийска пришвартовался сухогруз «Иван Нечаев». По трапу на берег сошел моряк Степан Безродный. Успешно миновал таможенную зону, вышел за пределы порта. Теперь — в ночлежку!

Межрейсовая база «Дом моряка» — клоповник среднего пошиба: казенные кровати, по три на комнату, подушки тонкие, закапанные простыни да тумбочки без ручек. Жильцы смеют по-черному и густо матерятся, закинув ноги кто куда.

На этот раз Степану повезло: в каморке № 5 он был один. Не торопясь стянул тельняшку: вокруг литого торса обмотано 14 катушек иностранных брендов: их местные умельцы лепят на сорочки и штаны.

Включил кассетник, достал бутылку красного портвейна и выпил из горла. Все стало на свои места: он на земле, в окно идут шумы большого города, пора заняться делом!

Нашарив пачку ассигнаций, направился глотать портвейн в стеклянное кафе.

На улице окликнула его девчонка — худая, модная, в капроновом плаще:

— Найдется закурить?

Набрав кошелку выпивки, он вместе с проституткой Мама-сан вернулся в номер. Последовало: питье, бессвязный разговор и треск пружин.

Моряк был пьян настолько, что больше часа мучал «дальнобойщицу» — подругу тех, кто приплывает издалека. Потом лежали рядом и курили едкие сигарки. Эмоция, похожая на нежность, рождалась в мощном корпусе Безродного: «Погодь, я щас!»

Набив карман десятирублевками, он вышел. На улице — темно. Портвейна нету. Взяв у таксиста бутылку водки за четвертной, Безродный возвратился в «Дом моряка».

В каюте № 5 — уныло, пусто. Измятая постель, чинарики. Где Мама-сан? Толкнулся в дверь, что рядом: девчонка лежала в объятиях Газиева, золотозубого кавказца с паромы «Семен Веселый».

— Полундра!

Газиев, прижав подушку к брюху, выбежал из комнаты.

Себя не помня, Безродный стиснул цыплячью шею Мамысан, потом очнулся:

— Эй, ты чего?

Но та не отвечала. Татуированными лапами Безродный шевелил ее негнущееся тело, моргал глазками.

— Что делать-то?

В ее пластиковом пакете — какие-то тряпицы да шоколадка.

Безродный открыл окно, закурил, глядя в черное небо, и, исказившись всем лицом, по-волчьи завыл на луну.

ОТЕЦ И СЫН

Июнь. Москва. Иван Корягин пристроил свой «Жигуль» у здания Генштаба на Арбате и начал ждать отца — прославленного генерала.

Температура под 30. На небе ни облачка. Быстрее бы на дачу, в Жуковку, и босиком по травке. Прогнать вчерашний хмель, поплавать...

Ивану 30 лет — сухой, циничный переводчик МИДа. Он курит «Кент» и выдыхает смесь паров коньячных и виргинских... На нем — фланелевые брюки, штилеты «Гуччи», часы «Рико»...

Ну, вот и папа! Дверь открывается и рядом с ним садится генерал Корягин. Ему уже за 70, громадный лысый мастодонт с густыми серыми бровями:

— Поехали!

Иван нажал на газ, Москва поплыла пред глазами: Садовое кольцо, Кутузовский проспект и далее, на дачу...

— Ну что, сынок, с Лариской завязал?

— Не надо, папа, в личные дела залазить...

— Какой ты важный...

— Такой же, как и ты!

Нависла тишина.

— Хреновая машина! — старик был раздражен. — Вот в «Волге» сидишь как человек. А тут...

Иван включил магнитофон. Забойный рок сотряс салон.

— Жидовская баланда! Выключи! — старик был непреклонен.

Иван смирился, лишь губы стиснул и сильнее нажал на газ.

— Обиделся... какие нежные... — пошел брюзжать родитель, — какие цацы... Вас бы запрячь и попахать, куда не завоюете...

— Уж попахали, хватит. Дошли до точки, — пробормотал под нос Иван.

— Смотри! — вдруг ткнул вперед отец. За низенькой оградой, у развилки, стоял, как мальчик, мелкий гипсовый солдат, покрашенный в серебряную краску. — Вот она, отцовская и боевая слава!

— Безвкусица! — была реакция Ивана. Он вновь включил магнитофон.

— А ну! — на этот раз отец Корягин не шутил. — Стервец! Мы проливали кровь, мы брюхом трамбовали эту землю, а ты! Рожна тебе еще!

— Ну что же, папа, раз ты такой упорный, то откажись от дачи, от кормушки, от всего.

— Свинья! — у генерала вдруг дыхание сперло, он поперхнулся, выпучил глаза...

— Не надо, папа... вокруг нас безобразие... Продуктов — дефицит, свободы — нету... лишь морды постные... все это ваши милые дела... за Родину, за Сталина, а получилось что? Несчастливая, отсталая страна, убогие людишки, много болтовни... Бездарное искусство, ложь, закрытые границы... Казалось бы — позор, а ты — «гордиться»... Ты слышишь, папа?

Отец молчал.

— Я знаю, что все и порочны, и продажны, но это лучше не скрывать. Зачем скрывать, скажи!

И на это ничего не ответил генерал. Пораженный такой терпимостью, Иван оборотил к нему свой взор: отец сидел спокойно, с открытыми глазами. В парадном мундире с золотыми позументами сидел отец, от левого плеча до правого бедра пролегли ряды медалей и орденов, на боку — разновидность кортика. Генерал Корягин ушел на тот свет.

— Что ж это такое, папа? — Иван весь сжался, но руль не выпустил.

— Что ж это такое? Мы... мы, — и крупная слеза скатилась по надушенной щеке. Машина мчалась по подмосковной трассе, гремела музыка, а также продолжался монолог — теперь совсем другой, даже диаметрально противоположный по духу.

ХЕЛЬГА — НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ*

Место действия — Москва, время — сентябрь 1983 г., герои — Хельга Увеман (ФРГ) и Василий Копылов (Советский Союз). Оба — 1950 года рождения. Она — научная сотрудница Института заморских исследований в Гамбурге, он — научный сотрудник Института государства и права в Москве. Хельгу послали в Москву, его послали встречать Хельгу. Вот и вся предыстория.

Х. Увеман провела неделю в столице СССР, ознакомилась с работой научных центров, а по возвращении в Гамбург написала подробный отчет о своей работе. В конце там значилось: «Существует явная целесообразность обмена научными специалистами двух стран», а Копылов написал в своем отчете: «Необходим критический анализ опыта немецких коллег».

На самом деле все было так. Прилетел самолет компании «Люфтганза», Копылов пошел встречать и увидел: худая, высокая шатенка, тянет чемодан на колесиках, волосы — мелким бесом, в глазах — спокойная грусть.

— Разрешите представиться — Копылов.

— О, здравствуйте... Хельга Увеман.

Сели в черную «Волгу» и покатали в центр города. Русские поля расстилались вокруг. Избы, леса и — нервный парень Копылов. Это увидела Х. Увеман. Он видел: сдержанную немку, курносый профиль, сеточку вокруг глаз, но больше чуял запах свежести, нездешней парфюмерии, «Уайт лайнен», как сказала она позже.

— Курите?

— Курю.

— Я тоже.

— Вот это, — встрял Копылов, — надолбы. Ежи, противотанковые укрепления и т. д. Сюда подошли немецкие танки. Открылись люки и в мощные бинокли они увидели Москву.

— О!

— С тех пор прошло 42 года. Eine scheisse-Zeit.

— Мы — одногодки? — спросила Хельга.

— 1950.

— Тоже.

— Очень приятно.

— Гм...

— Въезжаем в Москву.

* Helga: eine ungewöhnliche Love-story.

— Как звать отель?

— Гостиница «Академическая».

— До Красной площади далеко?

— Недалеко. Позвольте? — Копылов приоткрыл окно: пряный воздух с полей заполнил автомобиль. Оба умолкли. Наконец, прибыли, оформились, приступили к делам.

Программа была насыщена: ВДНХ, балет, Красная площадь. Посещение научных центров и библиотек, бывших царских угодий.

Копылов сопровождал, переводил. По вечерам довозил до отеля и низко кланялся. Так прошло 4 дня.

На пятый день ему показалось, что Хельга странно смотрит. Они ехали с танцев Моисеева. Приехали.

— До свидания, — вытянул руку Копылов.

— Подождите, — сказала Хельга.

— Давайте, — сказала она после легкой паузы, — поужинаем вместе.

— Давайте, — сказал в растерянности Копылов и начал сочинять спасительную ложь. Было 10 вечера. Жена ждала.

В ресторане при гостинице нашлось два места. Вокруг сидели: проститутки, арабы, югославы и местная фарца.

— Я угощаю, — сказала немка, — курите.

Наступило странное молчание.

Она дымилась, глядя на кончик сигареты, но так, будто немая эта улыбка была обращена к нему. Оба думали о своем.

Стиль этот был непривычен Копылову: сидеть и курить, не глядя на партнера. Но через пять минут он понял: это сближает много больше. Они были заговорщики по молчанию.

Оркестр играл. Публика пошла танцевать.

— Я родилась в Хамбурхе, — сказала Хельга. — Но мои родители родом из Тюрингии. Когда была в школе, умер дедушка, старый нацист. На завещанное купили мне скрипку. Я играла 10 лет.

— Летом 1968, — продолжала Хельга, — не знала, куда пойти учиться. В августе произошли чехословацкие события. И я решила: какая скрипка, если мир идет ко дну? И я пошла на кафедру политэкономии.

— Чехословацкие события? — вздохнул Копылов. — Всю историю происходили чехословацкие события, но никто не бросал свою скрипку.

— Закончила университет в 73-м, вышла замуж, родила дочь. Муж — высокий, красавец, но все вечера сидит в пивной и болтает с друзьями.

«Типичный немец», — хотел сказать Копылов, но сдержался.

— И тогда я решила доказать ему, на что способна. Сама вырастила дочку, защитила диссертацию. Теперь я требую развода.

«Жениться на немке? — подумал Копылов. — Уехать в Гамбург и жить припеваючи».

— У вас хорошая квартира? — спросил он.

— Три комнаты, балкон. 15 минут до центра на трамвае.

— И сколько получает молодой научный сотрудник?

— Три тыщи марок.

— Очень хорошо.

— Уровень жизни неплохой. Если бы только не нынешняя экономическая рецессия...

— А в церковь не ходите?

— Нет, я последовательная агностичка.

— И в переселение душ не верите?

— Я верю лишь в свой экзистенциальный опыт, — отрезала Хельга, — а что я не знаю, в то я не верю.

— Я хотела бы, — попросила Хельга, — посмотреть Красную площадь, несмотря на поздний час.

Москва была пустынна. Подступы к Красной площади — через улицу Куйбышева и ГУМ. Мерцали звезды. Звук шагов.

— Вы ничего не слышали? — спросила Хельга.

— Чего слышать-то? В четверг, 1 сентября, над Южным Сахалином был сбит южнокорейский самолет. 265 пассажиров и экипаж — 29 человек.

Декомпрессия в кабине. Громадный «Джамбо-джет» идет в пике и погружается в пучину вод. Люди медленно разносятся зелеными пассатами. Холодным курильским течением. На поверхности плавают картонный стаканчик «Боинга».

«Конец котенку!» — сплюнул летчик и повел свой МИГ-27 на родную камчатскую базу.

— И какие слухи?

— Самые разнообразные. То ли наш чудак долбанул не думая, то ли ЦРУ подстроило маршрут после долгих раздумий. А скорее всего, оба факта имели место.

— А вы как?

— Я? Von chat, bon rat. Gut angegriffen, gut verteidigt. По сеньке и шапка.

— Что-что?

— В царстве людей-машин все возможно.

— Машин?

Немка задумалась. Молча дошли они до «Академической», он пожал ей руку и посмотрел, как она впорхнула в клеть. На 13-м этаже зажегся свет. Пошел дождь. Он поднял воротник плаща и стал шагать взад-вперед, под дождем, на неудобном острове на Октябрьской площади. Вот так она

складывается, горемычная доля. Попытка пробить препон. И человек становится подобен рыбе-шелкоперке, тыкающейся в плотное стекло аквариума.

На другой день Хельга вышла с опухшими глазами. Влюблена, что ли? У него самого засосало внутри.

Она молча выпила кофе и спросила:

— Ты верный муж?

— О да! Я есть примерный советский семьянин.

Опять она воровски заулыбалась, глядя на кончик сигареты.

— Мне вчера жена сделала втык, — сказал Копылов.

— О!

— Через час поездка в Загорск.

— ?

— Но мы можем изменить маршрут.

— А-аа...

С двумя пересадками (спутали станции) они прибыли на Казанский вокзал. Узбеки и русские сидели на мешках.

— За 30-й километр иностранцев не пускают, — сказал Копылов, — но если будут спрашивать, ты изобрази, что ты немая, и на все вопросы улыбайся. Не забудь, что немка, она и есть «немая».

К счастью, она была скромно одета: джинсы, курта и сумка через плечо. Влезли в поезд до 42-го километра и были таковы.

В поезде подошла баба:

— Дайте на прокорм, прости, господи!

— Мизер-рюсс! — прокомментировал Копылов.

Полустанки, желтеющая листва, зачехленные танки и «Жигули» на встречных составах, — в общем, доехали.

Пошли по улице Клары Цеткин.

— Еще одна феминистка! — перевел Копылов. — «Как бы не произошла катастрофа!» — подумал он про себя.

Дачный сезон кончился, но малохолдный друг Сосискин еще околачивался там, на даче, и ходил по участку в 25 соток: в резиновых сапогах, в плащ-палатке, сшибая головы с поганок и рассуждая о скверном влиянии космической эпопеи на произрастание грибковых спор.

Продовольственный вопрос его мало трогал.

Копылов подмигнул, и Сосискин молча удалился в лес.

Дача. Зеленое двухэтажное строение. С полуразрушенной печью, скрипучей лестницей и резонансом особой силы.

Это была одна из тех дач, где жили и работали странные русские мыслители 19 и 20 веков, где бегали мальчишки с битыми коленками — будущие гении и алкоголики, где бабушки гроыхали кастрюлями и готовили незатейливый обед.

В зарослях, близ заборов, лежали довоенные куклы и вставали на тонких ножках колонии бледных поганок.

— О! — сказала Хельга.

Пасмурно было. Каркали вороны. Шумели сосны.

Вошли, осмотрелись.

— Хельга!

— Да?

— Это русская дача, настоящая глушь. Сильные азиатские ветры, ах, ну да что там... давай растопим печь.

Растопили, хотя было и не холодно. Копылов достал две бутылки водки: «Хорошо! Здесь уж нас никто не услышит!»

Перед лежанкой, на листах газеты «Правда» за 1948 год, лежала куча спелых антоновок. Свирепый дух шел от них. Что-то лопнуло в печи. Немка стала раздеваться.

Что Гамбург? Что пресная размеренная жизнь?

Три часа продолжалась эта любовь. Над Подмосковьем прошли грозные дожди и снова выглянуло солнце. Пролаяли собаки.

— Возьми яблоко, — предложил Копылов. — Аугуст-апель.

— Что скажет дайне фрау?

— Что скажет?

— Да.

— Ничего не скажет.

Зажег сигарету. Дал затянуться даме.

— Жена скажет: почему вы пили водку в Загорске?

— Мне казалось, что я все это видела: дача, Россия, любовь...

— В страшном сне?

— Нет...

— Любовь в военное время всегда прекрасна, интенсивна. Холодная война — это тоже война, а русская разлука — всегда как война.

— А как же движение за мир?

— А никак. Послезавтра начинается бойкот. Референты из президиума Академии наук попросили передать, что не далее как завтра, в среду, 15 октября, состоится последний рейс Люфтганзы в сторону Гамбурга. Вот за это и выпьем. Чтoб не подбили.

Чокнулись, выпили. На часах было 15.30. Экскурсия в Загорск подходила к концу.

— У вас есть водка в Гамбурге?

Хельга молчала.

— Ты что такая неживая?

Хельга молчала. Что-то наподобие горькой усмешки собралось на ее лице. Детско-старческое выражение.

— Ты слышишь, что я говорю? Шайзе!

Хельга подняла глаза. В них были слезы. Западная немка на пороге зрелых лет. Ровесница. Копылов понял, что перегнул палку. И начал краткую исповедь:

— Я родился в Москве, в 1950-м, в коммуналке, в кротовой норе. Маленький косолапёный мальчик: ясли, детсад, школа. Октябренок, пионер, комсомол. Жизнь тягучая, бездумная, рябая. Будто смерть на пороге...

— Зачем думать о смерти, либлинг? Лучше жить и работать!

— А еще лучше работать и жить.

— Аух йа!

«Ты придерживаешься верхне-среднего деления социал-демократической ориентации, а я — крайней боковой доски на крышке гроба», — хотел сказать он, но сдержался. И без того она была на грани истерики.

Вместо этого он принял павианью позу и произвес:

— Мы — татарский субконтинент. Мощные азиатские ветры заходят сюда в гости. Они несут сумятицу в мозги. Постоянную идею смерти и разрушенья. О стабильности не может идти речь.

Хельга хрустнула яблоком: аугуст-апфель.

Посмотрела в окно: альтвайбзоммер.

— Поедем в Хамбурхь?

— Я не зна, я не ве, не про-да... Что Гамбург? Здесь — в теплом, родном хлеву, а там — в разумном, прибранном свинарнике...

Так и закончилась эта необычная история любви. На многоточиях, на приподнятых бровях. Вернулись в Москву; формально раскланялись, а на следующий день повез он Хельгу в аэропорт.

Сдали багаж, встали супротив друг друга.

— Ну, прощай, Хельга! — молвил он. — Век тебя не забуду.

— И ты прощай, мой русский либхабер!

Повернулась и пошла за загородку, рукой махнула.

Копылов ощутил внезапную пустоту.

Вздыхнул и поплелся прочь.

Э К Л О Г А

Е. Б.

Мой друг, мой нежный друг, в пунцовом георгине
могучий шмель гудит, зарывшись с головой.
Но крупный дождь грибной так легок на помине,
так сладок для ботвы, для кожи золотой.
Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же
и, ангел мой, пойми — нам некуда идти.
Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу
и томик намочил Эжена де Кюсти.
Чей перевод, скажи? Гандлевского, наверно.
Анакреонтов лад, гораццианский строй.
И огурцы в цвету, и звон цикады мерный,
кузнечика точней, и лиры золотой.
И солнце сквозь листву, и шмель неторопливый,
и фавна тихий смех, и сонных кур возня.
Сюда, мой друг, сюда, мой ангел нерадивый,
приляг, мой нежный друг, и не тревожь меня.
О, налепи на нос листок светло-зеленый,
о, закрывай глаза и слушай в полусне
то пение цикад, то звон цевницы сонной,
то бормотанье волн, то пенье в стороне
аркадских пастухов — из томика, из плавной,
медовой глубины, летейской тишины,
и тихий смех в кустах полуденного фавна,
и лепет огурцов, и шепот бузины.
Сюда, сюда, мой друг! Ты знаешь край, где никнет
клубника в чернозем на радость муравьям,
где сохнет на столе подмоченная книга
Эжена де Кюсти, и за забором там
соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка,
и Хлон поясок, дриады локоток,
и некуда идти, и за грядой картошки
заросший ручеек, расшатанный мосток.

САША СОКОЛОВ

ПАЛИСАНДРИЯ

(фрагмент)

«Это — пародия на мемуары, пародия на исторический роман, на роман эротический, детективный, то есть на основные жанры современной развлекательной литературы. Герой повествования Палисандр Дальберг родился в Кремле, его родители рано и таинственным образом умерли. Палисандр становится как бы сыном правительства, кремлевским сиротой. Это — повесть о его похождениях в крепости и за ее пределами, за границей. Псевдокуртуазный роман. Он выполнен в форме мемуаров героя, который, в силу особенностей судьбы, жил не только в двадцатом веке, но и в предыдущие века, при разных режимах. В конце книги, после возвращения из ссылки, где он находился до 1990 года, Палисандр становится диктатором России XXI века. Любопытна его родословная: правнук Григория Распутина и внучатый племянник Лаврентия Берия. Этот роман называют чуть ли не единственной вещью русского постмодернизма. Меня всегда удивляло отсутствие у себя интереса к истории, к мемуарам. И вот захотелось восполнить пробел и внести лепту. «Палисандрию» можно как угодно трактовать, но не следует забывать, что это все-таки пародия...»

Из беседы с автором

Меня встречают уснувшие до тепла фонтаны, пруды в ледяных мундирах с катающимися на них грациозками. Меня встречают какие-то вековые деревья со скачущими по ветвям небольшими животными. И встречают кюски, решетки; встречает осунувшийся, по-пушкински ноздреватый снег. Встречают и статуи, на зиму предупредительно замурованные в грубоподобные ящики. Меня, наконец, приветствуют и кое-какие служащие. Почтительно избавляют от багажа и ведут непосредственно в трапезную.

«На обед подавали рябчиков», констатирую я в своем некоснительном дневнике в тот же вечер. «Столики были сервированы на двоих».

Испросив позволения и не получив ни его, ни отказа, подсаживаюсь к незнакомой даме. Витая еще в путевой прострации, вид ее показался знакомым. «Я только что видел ее в среде конькобежек», думаю я. И сказал ей:

«Пленительная погодка, миледи. Типичная оттепель. Вы заметили, как помутился и матов каток? Мне нейдет его уподобить старинному зеркалу, у которого потрескалась амальгама. А вам? Между прочим, у нас в Кремле тоже есть ледяные пространства. Там, видите ли, заливают аллеи. Скользишь себе на досуге, вальсируешь».

Вся в чем-то вечернем и черном, в чадре и темных очках, незнакомка не отвечала, и мне не оставалось иного, как самому поддержать незаладившуюся беседу.

«Я в зимних забавах, конечно, не дока, не спец, но, по моему, вы фигурируете на заглядение плавно. Просто что-то особенное. В вас бездна пластики, бездна. Вы истинная виртуозка». И все такое.

Как видите, тон беседы был *воп*, т. е. исключительно светск. Отобедав, моя незнакомка знакомого вида откинулась на спинку жесткого черного кресла и плавно отъехала в нем, манипулируя какими-то рычагами. Тогда, окликнув лоснящегося метрдотеля, которого звали З., автор строк надавал молодцу казначейских билетов и живо поинтересовался: «Скажите, дражайший, а та миловидная старушенция, с которой мы так славно потараторили только что, она вообще разговаривает?»

«Обычно без умолку», отвечал мне распорядитель. «Впрочем, вот уже несколько лет, как — ни слова».

«То бишь — решительно ни гу-гу?»

«Совершенно».

«А что так?»

«Мадам настоятельница блюдет пост молчания».

«На какой же предмет?»

«Сожалеет о невозвратном. Вообразите, когда-то она состояла в супругах персидского головореза Хомейни. Слышали про такого?»

«Так, краем уха».

«Теперь старикан пошел в гору, разбогател, а прежде был заурядным муллой безо всяких перспектив. Жен своих содержал в беспорядке, впроголодь. Говорят, у него в серале не было даже водопровода».

«А ванна? Чем же они ее наполняли? Неужто единственно грязью?»

«Ванны не было тоже».

«Какое несчастье!»

«А за нуждою», повествовал З. доверительно, «ходили в канаву и вместо туалетной бумаги употребляли обычные придорожные камни».

«Зачем же не подорожник?»

«Использование широколистных трав в Персии карается по Корану», ответил распорядитель. «Короче, рутина гаремной жизни, тяготила мадам, до замужества жившую как у Аллаха за пазухой. Шутка ли: дочь Мехмеда Шестого!»

«Вахидеддина?»

«Да-да, султана Оттоманской империи. Добрейший, рассказывают, был папаша, ничего для детей не жалел. И как-то, гостя у него в Трабзоне, она говорит ему: папа, можно я покатаюсь на лодке? Ну, разумеется, покатайся, сказал Мехмед. Тогда она села на шлюпку и уплыла».

«Далеко ли?»

«В Россию. Точнее, в Аджарию».

«Понтом?»

«С вашего позволения, Эвксинским. С ней плыл один знаменитый пройдоха — поэт, который, в сущности, и вовлек ее в авантюру».

«Турок?»

«М-м, младотурок», уточнил метрдотель, знавший цену определенности. «Наносвящал ей стихов, обещал жениться, уговорил бежать, а по прибытии, если не ошибаюсь, в Батум, пошел до и утопился».

«Какая бестактность!» рассержено я сказал.

«Поразительная», ответил З. «Бросить женщину с малолетним мальчиком на руках. Она ведь бежала с сыном айятолы».

«С сыном? А что с ним случилось?»

«Сначала вырос, потом состарился», молвил метрдотель.

«О, за старостью дело не станет, время стремится искрометно», посетовал автор строк. «И где же сей подвизается?»

«Неподалеку. Да вы его, верно, знаете, Ваше Сиротство, у него синекура на здешнем кладбище».

«Кербабаев?»

«Он самый».

Ах, мне ли было не знать Берды Кербабаева! Типичный персидский турок, он числился в офицерах того разряда, за коим упрочилось бравое имя запаса, и, будучи в нем капитаном, нередко нашивал не сапоги он, но валенки.

Есть люди, в чьих жестах упрямо сквозит ни на чем не основанная уверенность — в себе ли, в завтрашнем дне, в преданности ли своим идеалам — кто знает их, этих выскочек. Есть и другие, в чьих жестах сквозит неуверенность, что совершенно естественно и похвально. Наличествует, наконец, и третья категория публики. В жестах ее — даже она побернаровски драматична — не сквозит ничего.

Капитан от складирования Кербабаев Берды Кербабаевич не вписывался ни в единую из перечисленных категорий, поскольку жестов за ним никаких не числилось и замечено не было. Он не употреблял их. Поэтому иногда казалось, что органами жестикуляции он попросту не владеет. Так те из нас, кто не использует бранных, или, как их еще называют, крылатых слов, способны произвести впечатление, будто их и не знают. Ведя себя таким образом, т. е. таким, что руки его постоянно висели — но не безвольно, как плети, однако и не по-солдафонски, навтыяжку, а спокойно и просто висели — Берды представил перед Вами фигурой безыскусственной простоты, очевидности, был воплощенная ясность. Впрочем, не родился еще тот вышестоящий по званию командир, который отважился бы упрекнуть его в неотдании чести: прямота и спокойствие, с какими складеец держался перед любым начальством, не только делали Кербабаеву честь, но и не допускали никаких нареканий. Они же, разумеется, и подкупали. Все перечисленное обеспечило ему репутацию блестящего отставника и сотрудника, и привычка к валяной обуви не мешала ему в неслужебный ядерный денек блеснуть перламутром шиблета, брильянтом запонки, александритом галстучной скрепки, что, разумеется, не могло не питать завистливых сплетен, будто бы капитан нечист на руку и, сторожа от других, обирает захоронения сам. «Так ли это?» бестактно расспрашивали его иногда подвыпившие охотники, соизволяя шутить. Смугловат, хмуроват и подтянут, капитан им в ответ лишь насмешливо ухмылялся, и рот его, искаженный в детстве аджарскими компрачикосами, горел золотыми коронками, как монастырь-купола.

«А мадам? как слагались ее обстоятельства? И если уж мы завели о ней речь, то как ее имя?»

«Мадам Шагане Хомейни. Хотя большинство клиентуры зовет ее просто Джуна. В последние годы она служила по заграницам — от Чили до Индонезии, в лучших домах нашего типа. Огромный опыт. Так что по возвращении в Эмск ее сразу направили к нам и произвели в настоятельницы».

«Строга?»

«Мегера», признался метрдотель.

Мысленно потирая руки, П. загадочно улыбнулся: из дамских характеров ему наиболее импонировали злые и вздорные. «А что это за спицеблеющая колесница? У мадам, вероятно, проблемы с ногами?»

«Навряд ли», сказал мне З. «Их ведь нету».

«С чего бы это?»

«С рожденья».

В тот же день прохожу инструктаж у завхоза, расписываюсь в амбарной книге в получение ключей и за полночь, весь проникшись сочувствием к настоятельнице и в нарушение всех правил, благоупотребляю один из. Вращаясь, окладистая бородка ключа коснулась нижней кромки сувальды, штифт вошел в ее выемку, пружина ослабла и ригель послушно откатился в резерв. Дверь не скрипнула. Я вошел.

Шагане почивала под балдахином. У изголовья ложа горел ночник, выхватывая из сумрака изысканно скупого сервировку прикроватного табурета: мелковатый фужер и заметно початый графин благородного sake, в нем, польщенная моей убедительной просьбой, кухарка мадам с вечера растворила немного снотворного. Лицо настоятельницы покрывала чадра. Как, должно быть, прекрасно оно в закоснелой своей порочности, подумалось мне, как неурядицы ремесла, вероятно, сказались в нем, если даже впадая в объятья Морфея, она продолжает скрытничать. Испорченное воображение зашло в ознобе. В минуту мое альтер эго окрепло, взошло, и, не прибегая к услугам рук, которые были скрещены на груди, я со стоном осеменял себе изнанку исподнего.

Шагане застонала. Ей снилось, будто какой-то прекрасный юноша — неискушенный, почти что невинный — изнеживает сѣ межножье. Всмотревшись, я трепетно узнаю в нем себя и снимаю с лица ее сетчатую вуаль. Предо мною возник испещренный краплениями, трещинами, траченный в азартных тасовках лик пиковой дамы — заблудшей дочери истамбульского истеблишмента.

Она разметалась. И если Вам посчастливилось созерцать хоть студенческий слепок начинающего Пигмалиона, изваянный с антикварной калекки из Мелоса, и если при виде физических недостатков богини дыхание Вам перехватывал спазм эстетической горечи, тогда Вы поймете, что мне открылось и

довелось пережить. Жалость прилила ко всем членам моим, как хмель, — и тут же перебродила в вино филантропии, гуманизма, в неутешимое искушение принять участие — в ней, потасканной страстотерпице — во всех ее сквернах, пороках, падениях и греховных исканиях. Мне захотелось пройти с нею вместе весь пройденный ею предосудительный путь, исследить его ретроспективно; опосредованно — методом искупительного самоунижения — отведать лишений замужества и внебрачных мытарств, проникнуться болью ее подневольных оргазмов, цинизмом интернациональных оргий — и только потом уж дать волю мятушимся чувствам, накипевшим слезам — раскаяться и расплакаться: за нее, за себя, за нас взятых вкупе — нас, без устали, разными способами погубляющих себе души.

Осторожно я приподнял ее, подложил ей под поясницу подушку, взошел в ложе и скромно, как для молитвы, встал пред женщиной на колени. Не решаясь прильнуть к ненаглядному телу, я дерзко, но сострадательно, словно лекарь, предпринял вмешательство во внутренние ее дела.

О беглянка! Войдя моим сызнова восхищенным блудом в изнывающее в грезах лоно твое, — я вошел в эти грезы — наполнил их своим существенным содержанием — упруго овеществил — стал естественным и полнокровным их содержанием.

Очи турчанки взволнованно заметались под веками, линии лба и щек исполнились как бы сладкой иронии, но Морфей не выпускал ее из объятий своих и Эрос бестыдно забыл несчастную в люльке желания. Когда же сомнамбулическое блудодействие постигла высокая кульминация, и все существо Шагане потрясла малярия катарсиса, она очнулась; однако видение продолжалось и наяву: ею пользовались. Сон оказался на редкость в руку. Настоятельница было невыразимо приятно и стыдно вместе. Хотелось кричать. Но — о чем? От чего именно? Она терялась в догадках.

«Простите, я вижу, вы смущены», начал П., в свой черед приближаясь к заветной развязке. «Признаться, я тоже в смятенье. Мне мнится, я давеча вас огорчил. Только я не выдумывал: там действительно кто-то катался, а я — я дальтоник, я — дальнорук, и весь мир — вся подлунная с точки зрения меня — или, если хотите, по мне — есть пестроватое крошево. Вся вселенная аляповато расплывчата. Фигуры заскакивают одна за одну — заползают, и где-же, откуда мне было знать — согласитесь. Касательно, то есть, вашего *incarcité* — откуда? Мне, свежеприбывшему новобранцу. Сослали, сослали в ваше распоряжение, в ключники, а сами не предупредили, не упредили. И вот — выхожу кругом ви-

«Мы родились, чтобы встретиться, и встретились, чтобы переродиться», говорит моя дневниковая запись от марта девятого дня.

О, как целительна была наша связь, как искупительно и отраднo было это взаимное унижение. И на исходе следующей ночи и сил мы не могли больше сдерживать слез и детьми разрыдались в какой-то сквозной истерике: пытка счастьем казалась невыносимой.

Так, сударь мой, вспыхнуло — полыхнуло — хлынуло первое настоящее чувство дерзающего лица. И точно так же началась его служба в качестве рядового ключника на каторге эротических буйств.

Должность ключника, насколько я ее понимал, считалась почетной, однако в Ваши обязанности что-то, все же, входило. Во-первых, Вы были обязаны быть им, считаться, числиться, что уж само по себе докучало; а во-вторых, знать и помнить об этой обязанности, для чего и носили на шее монисто из ключевых болванок, перебирая их, будто четки. Вдобавок Вы записались на монастырские курсы ирландской четки и много практиковались в уединении. Причиндалами Пана — призывно! — брэнчало Ваше монисто и клацали Ваши голландские клоги — то тут, то там — по зацветающим закоулкам подворья. Вы звали — и она приезжала. Спицы ее партикулярного кресла, отлично подтянутые мастером на все руки отцом-привратником Никоном, воспаленно сверкали, и им навстречу сияли ролики моего самоката, искусно смазанные тем же Никоном. И реяли полы халата.

Съехавшись, мы немного катались по парку, ни мало не прячась от монастырской челяди и гостей, ибо состояние персонального счастья, любезнейший, есть в первую голову состояние обостренного безразличия к посторонним — со всеми их кривотолками. Случалось, не вытерпев ждать до сумерек*, мы убывали в заброшенный сектор сада, где к нашим услугам висел читальный гамак. Мы читали в те дни «Кармасутру», староиндийский самоучитель фривольных утех под редакцией знаменитого сексопатолога Эриха Фромма, эсквайра. Девятитимное руководство пестрело сотнями репродукций с картин замечательных колористов Востока. События, запечатленные на полотнах, восходили, по-видимому, к раннему матриархату и носили, что называется, групповой характер, имея

* По доброй традиции, которую мы почти никогда не смели нарушать, сотрудники заведения могли находиться в женских (Мариинских и Лопухинских) а сотрудницы — в мужских (Годуновских) палатах лишь от захода солнца до полудня.

место на всевозможных качелях, батутах и в гамаках. Число участников ограничивалось только рамками иллюстраций: они буквально клубились телами, но каждый был, очевидно, при деле — кто непосредственно, кто — в порядке обслуживания: подавали напитки, помахивали опахалами, покачивали качели. Но чем бы и как бы ни занимались любвеобильные древние, Вас всегда остраивало выражение изображенных лиц — их спокойствие, созерцательность, кроткость, их какие-то непричастные, благостные улыбки. Улыбки Будд. Отдавая дань мастерству, явленному в сих забавных буколиках, позволим себе осмыслить, что уже и античные живописцы не всегда, к сожалению, следовали этнографической правде жизни. Ибо таких малоэмоциональных улыбок в такие интригующие моменты действительности не удастся приметить нигде — пусть и на самом дальнем Востоке. И тем не менее «Кармасутра» доставила нам немало приятных и небесполезных часов. Конечно, мы не могли выполнять всех ее предписаний дотошно. Положим, в нашем распоряжении был гамак, но ведь не было никаких сообщников: целомудренны, мы довольствовались лишь друг другом. Но сколь по-настоящему, полнокровно довольствовались! И мимика наша — поверьте, мы специально сравнивали — не шла ни в какое сравнение с мимикой буддийских эротоманов. Наша была бесконечно естественней и щедрей.

Но лето кончилось: на кладбище заукались первые гребшки.

Размышляя о русской осени, заключаешь, что та не бабует человека ничем, кроме вызревших кое-как плодов, и полна отвратительной слякоти и печали. Осень негуманно ставит Вас перед фактом своих проливных дождей, продувных норд-остов. У многих обложено небо, но небо у всех. И хотя в бесхозяйственных наших широтах батуты и гамаки качаются меж березами и в декабрьский градобой, и мартовским буреломом, лично Ваш качальный сезон завершается в августе месяце. В сентябре же, когда безответное детство и отрочество гуртом загоняется в душегубки гимназий и бурс, а птицы шеренгами летят на курорт, Вы начинаете пользоваться гостеприимством некоторых разоренных склепов.

Бывало, я извлекал Шагане из коляски, усаживал на пустующий пьедестал и скорбно, в ритме «Аве Марии», делил с ней два-три безумья подряд. А потом, приведя себя в прежний вид, мы снова катались. Неуют этих поистине нежилых помещений, подернутых мхом, как мехом, и слизью, как слизью — снаружи и изнутри, не претил нам. Точнее, мы просто не замечали его, третировали невниманьем. И тот, кому хоть единожды на веку довелось пережить бесшабашное уличное

приключение, а лучше — целый бездомный роман, тот поймет, почему. Поймет, ностальгически улыбнется и скажет: «Горение и чистоплюйство — несовместимы». К несчастью, пьедесталы нередко случаются неподстать — главным образом раздражительно высоки, даже мне — и тем самым напоминают знакомые всем подоконники наших парадных подъездов, а сей ущерб интерьера игнорировать не приходится: приходится применяться. Поэтому, тот, кто догадывается, чего мне стоили те тактические победы над вертикалями, как болели потом оскорбленные мускулы и зизи, и как по-настоящему никогда не выветрится из цепкой обонятельной памяти запах тех нечистот, что кучами оставляют после себя осквернители склепов во всех странах мира, — тот пусть вместе с нами воскликнет: «Да здравствуют зимы, что озонируют воздух, а также возводят Вас, представителя нашей дерзающей молодежи, на котурны коньков!»

И зима наступает.

Утро. На первом, за ночь выпавшем снеге появляются анонимные прокламации, суть которых сводится к самой из них незатейливой: «П. плюс Ш. равняется Л.».

В ответ поступаем не менее математически: ноль внимания. Правда, пролистывая сейчас свои новодевичьи записи, я улавливаю намеки на то, что меня в глубине души нет-нет да коробили, задевали проделки сплетников. В дневниковой заметке от третьего января, лаконичной и хлесткой, читаем: «Ничтожества!» А от четвертого: «Любопытствующее человечество напоминает нам тараканов, питающихся грязной чужого несвежего белья, и с какою-то прямо брезгливостью ежеутренне осознаешь, что и сам ты имеешь обличие гомо. И коснувшись себя — так и хочется кинуться в омут спасительного всеочищающего плескалица. Да, собственно, и кидаешься».

А не плачевно ли, к слову сказать, что все старания Брикарбракова-опылителя не увенчались успехами? Годами пульверизировал он кремлевские покои и туалеты, но мухи все продолжали жужжать, комары — нудели, клопы — покусывали, а когда, преисполненные мизантропических настроений, Вы устремлялись к пока еще ненаполненной ванне, чтобы наполнить ее, то обнаруживали в ней безобразнейших «пруссаков». И Вас начинало не то что подташнивать, а форменным образом рвать.

«Прямо в ванну?» слышу я голос дотошного летописца.

Увы, дружище, увы. И пусть лекарь Припарко Аркадий Маркелович в своих «Рассуждениях крепостного врача», опубликованных в латиноязычном журнале «Аурора Бореа-

лис», настаивает, будто ранние мокроты* мои выделялись на почве глистов, оставим сие безответственное утверждение на совести тех, кто присвоил ему ученую степень. Мальтузианское омерзение к насекомости человечества и к себе, его неотъемлемой части, — вот действительная причина всех наших обратных утренних перистальтик.

Меж тем отношения Ш. и П. развивались неординарно. Мужчины давно привыкли, что женщина поначалу снобирует их притязания единственно для того, чтобы с пушим эффектом вступить в связь впоследствии. Мировая драматургия и синема отполировали этот унылый фарс до блеска общего места, до лоска заерзанных зрительских фалд. Но тем-то и примечательна жизнь, что, игрива и взбалмошна, предлагает нам более исключений, чем правил. Довольно активно отдавшись на первом же, если так можно выразиться, randevу, Ш. по прошествии кое-какого времени стала словно бы сожалеть о содеянном. В один из последующих февралей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним — поначалу лишь взглядом, а после и личным образом. А если общение оказывалось неизбежным, то все чаще оно отзывалось голой платоникой. Последняя близость в склепе относится к середине марта. Действующие лица — все те же, привычен и антураж, однако П. откровенно неистовствует, а Ш. безучастна, как мумия. Соитие разочаровало обоих. Когда они покидали кладбище, снег сыпал типичной известкой, следы колес и коньков исчезали тотчас, а наступившей весной Ш. так охладела, что отосительно гамака не могло быть и речи.

Недоумевая, П. жаждет выяснить отношения, но и это оказывается проблематичным. По вечерам Ш. у себя не бывает, ночами ключ П. не входит в замочную скважину настоятельница, а точнее — в скважину дверного замка в двери ее кельи, т. к. Ш., запершись изнутри на свой, оставляет его в замке до рассвета, а на рассвете ее навещает пить чай заведующая гримуборной Ф., типичная молодящаяся пожилуха. Подобных ей дам Вы найдете в домах массажа любого правительства. Все они, вроде бы, высоконравственны, недоступны, все одеваются разнообразно, крикливо, пестро, только как бы они ни оделись, Вам чудится, что помимо туфель на них — только розовый пеньюар — пеньюар да и только — подумайте! И разве подобное не выводит из равновесия? не томит? не выбивает Вас из наезженного? не толкает на малообдуманные поступки? С целью вызвать у Ш. чувство ревности и тем воскресить былое, П. решается на один из.

* Читай, разумеется, рвоты.

Довольно ярким апрельским утром П. в разгар чаепития является в опочивальню Ш. и на глазах еще сонной хозяйки откидывает Ф. на софу. Он срывает с гримерши опостылевший пеньюар и явочным, как говорится, порядком овладевает ею.

Обе женщины бурно, хоть совершенно по-разному, переживают эту мимолетную связь: Ш. бьется в глухой бессловесной истерике, Ф. — в экстазе. Финал психодрамы классически зауряден: с горящими на мясистых щеках пощечинами незадачливый интриган выставляется вон. Вопреки его ожиданиям случай в келье несколько не послужил к воскрешению былого. Напротив — при встрече Ш. не подает провинившемуся ни руки.

П. в отчаянии. Он проклинает тот час, когда впервые вошел в ее грезы, овеществив их. Он желает забыть и ее, и свою к ней привязанность. А напрасно. Когда-нибудь, оглянувшись, он осознает, что их взаимоотношения достойны отнюдь не забвения, но всяческого о себе напоминания, ибо были прекрасны во всех нюансах. Впрочем, что значит — были? Ведь: «Истинные взаимоотношения», набросает П. на каком-то случайном клочке бумаги, вступая в третье тысячелетие от Рождества Христова, «взаимоотношения в лучшем значении слова не прекращаются и за чертой неизбежности, где, по мнению маловеров, кончаются все, даже лучшие, начинанья». И ниже: «Роль, которую в воспитаньи незрелых эмоций моих довелось сыграть сей благочестивой магометанке, огромна и подобна дрожжам: бросьте их куда следует: и зелье забродит». И на обороте того же клочка: «Как наивная барышня из чудесной провинциальной семьи, приехавшая в столицу причаститься шекспировской страсти, — та самая барышня, что с вокзала обольщена артистическим прощелыгой — ничтожнейшим шелкопером — смазливим щеголем — свезена в номера и обманута — и в сумятице закулисных оргий отомстительно сыплет гребенками по все новым подушкам — и тратя остатки скромности — и не чураясь самоновейших позиций — лихорадочно плещется в нечистотах общественных ванн — та и я же: обманут — оставлен — задет в возвышенных чувствах: кипел и безумствовал, юношествовал и дерзал!»*

Когда какие-то вялые, изможденные голоса негромко, но внятно зовут Вас по имени-отчеству, а на всей перспективе бульвара, как Вам, дальноторкому, представляется — ни души, не убеждайте себя, что сегодня Вы попросту не в себе,

* О молодость, ты ли не отболела!

не выпались, утомлены и гонимы, и что, в сущности, то никакие не голоса, а лишь вспорхи и перепархивания пернатых выводов в кронах очаровательно, что там ни говорите, метлообразных и долговязых вязов нашей Эмской провинции, а лишь ненавязчивый и бессвязный лепет подземных вод, а только шуршание листопада, падающего дождя или выпавших из плевательниц облигаций казенного золотого займа; не убеждайте. А также не сетуйте на слуховой аппарат и спичками с ватными наконечниками не ковыряйте в ушах, ибо если Вы даже проткнете себе в сердцах барабанные перепонки, то и тогда голоса не угаснут: Вы будете слышать их не ушами, но всем существом, как слышал свои хоралы оглохший Йоханн Себастиан.

Вот-вот — опять. И опять по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович, — отзовитесь!» Да-да, отзовитесь, а то никогда не угаснут и, словно пернатые выводки, станут клевать Вам коленную чашечку Вашего черепа*: «Палисандр Александрович, помните? помните? а?»

Будьте же, сударь, мужчиной, каковым Вы претендовали быть в бесславные залихватские поры — не трепещите. Ведь это не более, чем голоса — отголоски тех глосслалий, истощенных сладостраданий, любовных одышек и блудливых речей, которые Вас некогда столь умиляли — Вас, тогда похотливого хохотливого жеребца, а теперь непотребного сентиментального мерина. Словом, внемлите и возражайте: мол, да, я — Палисандр Александрович Дальберг, уважительно прозванный своим благородным народом Палисандром Прелестным. И это именно я, Прелестный, стою на бульваре, взволнованно опершись на чугунный с брильянтовым набалдашником зонт, что в тысяча пятьсот восьмидесятые годы метнул в своего непослушного недоросля Иван Васильевич Грозный, один из моих кремлевских предтеч. Зонт, а вместе с тем — посох, причем отличнейший: и остер, и увесист. Таким, доведись, не только от сына — от своры собак отобьешься. Простите себе эту горькую самоиронию, но с чем идти по миру Вы уже обрели. Только не теперь, потерпите. Такое всегда успеется. Нынче — время бестрепетно отозваться взыскующим голосом: дескать, припоминаю, припоминаю, правда, не все и не досконально. Еще бы, еще бы Вы удержали в памяти всех поверивших Вам старушек — из тех, что имели обыкновение гулять аллеями Новодевичьего. И не только; войдя во вкус, Вы позарились и на скорблиц Ваганькова, и на изысканных, утонченных дам Даниловского колумбария, и на маститых вдов Пе-

* Alopecia areata, милостивый государь, alopecia areata.

ределкинского погоста. А после, когда натешились ими, Вас отнюдь не смутило различие вер: повадились на немецкое, греческое, еврейское кладбища, на исконные вотчины прочих национальных меньшинств. Не для Вас, удалого охальника, писаны были сакраментальные тексты.

Впрочем, надо отдать Вам должное, Вы никогда не склоняли к прелюбодеянью насильственно, и взыскающие голоса готовы свидетельствовать о том. Иначе за что бы они обожали Вас — до сих пор — Вас, матерого вертопраха — зачем бы шептали: «А помните, помните?» — о, они! — охмуренные Вами печальницы — набожные божьи коровки — квелые одуванчики — прирученные и покинутые зверюшки — и на кого же, подумайте, — и навсегда. Странно мыслить: они уже все не здесь. До единой. Ведь и тогда наиболее молодой — непростительно, непростительно молодой из них — было под шестьдесят. И сначала Вы даже не обратили — почти что не обратили внимания на нее. Почти прошагали мимо. Даже не прошагали. Но, умозрительно приглядевшись, вернулись представиться. Ну, конечно, она была не вполне в Вашем вкусе. Весьма не вполне. Однако ночные охранники с колотушками приступили уже к обязанностям, посетительницы расходились, и выбора практически не оставалось.

Ей вслакнулось над свежей могилой сына, что, судя по эпитафии, был какими-нибудь десятью-одиннадцатью годами Вас старше, и то ли его переехал омнибус, то ль что — всякое, знаете ли, случается. И Вы принялись сочувствовать, начали принимать в ней участие, и дыхание ее участилось. Тогда Вы обволокли ее иллюзией преданности, защекотали щеточками фальшивых усов, усладили мягкими прикосновениями. И не успели еще просохнуть ее материнские, как навернулись слезы желанья, и она закачалась у Вас на бедрах, восхищенно изнемогая от той энергичной участливости, с какой Вы входили в ее обстоятельства. Оренбургский пуховый пеплос, которым, на зиму глядя, она прикрывала седины свои и плечи, стеснял ее, и она развязала его и отбросила на зубья ограды, и он повис на них, зацепившись.

А когда вы прощались, она целовала Вам руки, упрашивала попустить ей неопытность, неумелость — умоляла не забывать — назначала свидания — дарила что-то на память — как все они, впрочем, как все. Вот именно, в том-то и состояла беда этих разноплеменных доверчивых душ, что, несмотря на раскосость, отсутствие волосяного покрова и некую необычность целого ряда черт, Вы обладали каким-то нечеловеческим шармом. Вы были, если хотите, каризматичны. И Брикабраков не врал, что насельницы Новодевичьего почитают Вас душкой, лямуром. Вы были каризматичный лямур,

ангел неги, Egos! Вы были, милейший, старушья присуха — смерть. И они, заскорюзлые грустные души в обносках тел, зачарованно поступались честью. Все как одна. Даже и те, что уже и не понимали, зачем и как это нужно делать. Или — не помнили. Погодите, да многим нечего было и вспомнить. Их-то, ветхих Христовых невест из числа нецелованных бабушек, певших в церковных хорах, и монашек в миру — их Вы могли бы и не приручать, могли не будить им небуженного. Хотя бы из чисто отвлеченного гуманизма. Разме Вы не читали о нем? Или свечение отроческого ночника вправду было неверным? А все эти нищие инвалидки, паралитички, юродивые — то есть, каким же образом Вы, белоручка, брезгливец, ходивший к причастию с собственной ложкой, позволяли себе сношения с ними? А таким, что якшались с указанным контингентом только в особых каучуковых перчатках, соответственно облачая и альтер эго. А органы придыхания — рот и нос — защищались марлей: потомок известного шотландского палача, и сами в известном смысле порядочный изверг, Вы также орудовали зачастую в маске. Среди остальных причиндалов, что постоянно носились с собой в небольшом несессере, не следует упускать из виду склянки с импортным мирром и вазелином, которые Вы использовали в особо запущенных случаях.

Свежа ли, кстати сказать, в Вашей памяти та горбатая и придурочная побируха с задворок Преображенского кладбища, провидица без определенных занятий, которую Вы называли вдовой на выданье, и которая вся пропахла подпольем, поскольку жила в нем? Свежа — или тоже заплесневела? Абонируя в сем вертепе угол за ширмой, Вы содержали в нем три-четыре своих выходных наряда для выхода в свет, для сумеречных и ночных походов. Сняв дневное, служебное, и надев вечернее платье, а также парик и приличные туфли. Вы там поистине преображались. Естественно, Вы ничего не платили старухе за беспокойство: она довольствовалась теми минутными радостями, которые Вы ей нет-нет да оказывали на кованом, крытом ветошью сундуке, где — как Вы насмехались — хранилось ее приданое. Правда, радости эти оказывались столь велики, что в миг содроганий она не выдерживала и выделялась в астрал — покидала убежище тела. Тело, образно говоря, выдыхало ее из себя, и выдохнув, становилось еще тщедушнее, усыхало. Заметно тускнели и останавливались глаза ее, и выхолощенной напрочь мошонкой свисала грудь. Но самое любопытное происходило с горбом. Он проваливался, западал. Так под ногою охотника западает порою болотная кочка. И когда обитательница водворялась обратно, сложнее всего ей бывало протиснуться именно там.

Да и в целом, оставленное на минуту, тело оказывалось бедняге не в пору, тесно. Ей приходилось его разминать, разношивать, по-станиславски вживаться в плоть, как в забытую роль.

Находясь в тех, по-видимому, не столь отдаленных местах, куда она отлучалась и которые называла «поля ожидания», горбунья встречалась с умершими, видела то, что будет и было. Что было — Вы знаете из тысяч прочитанных мемуаров и летописей не хуже других, и поэтому интересовались лишь будущим, да и то между прочим и вскользь: дескать, будет ли. Отчеты соительницы звучали лукаво и темно, словно Евангелие от Луки. Только в одно из последних преобразений Ваших старуха высказалась определеннее, посулив Вам казенный дом, дальнюю дорогу, чужбину, мороку и хлопоты и любовное догробовое томление по малолетней. Все перечисленное, а томление по малолетней в особенности, не вписывалось в Ваши прожекты нимало, и, решив не верить пророчеству, Вы испуганно расхохотались на весь подвал, которым уж начинал попахивать и Ваш реквизит. Бросив его на вечное попечение вещуны, Вы справили себе более модный и стали преображаться по новому адресу. Век ее, впрочем, продлился недолго. Случайно встреченная на кладбище внучка соительницы, имевшая на Вас свои тщетные виды, порывисто сообщила, что бабушка окончательно отлетела.

Бедолага Лукерья Кузьминична, как-то вам можется там, в пустырях ожидания, произрастает ли в них хоть какая былинка — хоть лопушок — хоть цвет побежалости? Не молчите, подайте весть.

А голоса все отчетливей. Мол, Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович, а помните, как вы стали захаживать к нам, вашим многоюродным теткам, и как мы, дескать, доверились обаянию вашего отрочества, и как вы не то что бы не оправдали доверия, но как бы превратно истолковали его? А ведь мы, Палисандр Александрович, ждали вас годы и годы.

Вам, должно быть, известно, что в крепость, где вы появились на свет и жили, мы не были вхожи, но вследствие родственных слухов знали, что где-то там, в нам недоступных чертогах, растет способнейшей якобы мальчуган — вундеркинд, гений чистой воды, который когда-нибудь вырастет и удосужится навестить своих дальних и как-то не слишком достаточных родственников. Нет, судьба нас не жаловала излишествами. Периодически мы считали копейки и сетовали друг другу, что вот, мечтаешь на похороны прикопить, да все на лекарства тратишь. Однако, истые институтки, мы вынесли из своих пансионов любовь к добродетели и девизы: впе-

ред! — выше голову! — не поддаваться унынию! Незамужние сестры, мы двигались разными тропами, но навстречу единой заре. Мы шли, взявшись за руки, и скромность предпочитали бесчестию, чем бы это последнее ни вуалировалось. И пускай мы знакомимся с некоторыми из порядочных молодых людей, и некоторые из них производили довольно благоприятное впечатление, — знайте: при этом никто никогда не переступал известной грани, черты, а если и выискивался излишне самоуверенный кавалер, то он немедля получал поделом — немедля!

Но вам, должно быть, также известно, что дни нашей молодости минуются исподволь, словно волны, и как-то вдруг понимаешь, что только несколько теплых очаровательных встреч по-настоящему памятливы, живы, непреходяще волнители. Словом, вот мы и не заметили, как зачастили на дорогие могилы, навещая почивших подруг. И все чаще мы, сестры, собирались своими неприятельскими кружками — вязали, штопали, стряпали, играли на фортепьяно, в лото и вспоминали, как жили прежде. И что бы вы думали? Вышло, что жили мы славно: трудились, мечтали, верили, пестовали идеалы. Мы жили, как все, Палисандр Александрович, и грех нам жаловаться. И мы не любили, когда, возникшая на наших девишишках, вы с какой-то такой дедоватой прямо-таки иронией утверждали, что вечно блуждаете в наших головоломных проулках, и что наш ностальгический экзистенс элегически затерялся в кривоколенных и староконюшенных подворотнях. Зачем вы так говорили? Нам были обидны уколы ваших иносказаний. Мы жительствовавали вовсе не в этих улицах, а в совершенно иных. В Мещанских, если угодно, в Тверских-Ямских, на Грузинах. Хотя, что верно, то верно: небось, с непривычки и тут заплутаешь: бедлам. Таблички на зданиях выцвели, дворников рассчитали, рожки повыкрутили, от кошек проходу нет. Купишь, бывало, колбаски, вывесишь к вечеру за окно, а зарею посмотришь — один огузок весит: вот и постись неурочно.

Но лучше бы он совсем потерялся — пусть вовсе бы сгинул, наш экзистенс, — совершенно, чтобы вам, Палисандр Александрович, никогда не найти к нам дороги — чтоб нам никогда не встретиться — не сойтись — не обмолвиться словом. Вы слышите, гадкий мальчишка! Ах, Господи, как вы нарушили нам престарелый покой. Ведь это же просто невероятно: годами — буквально годами — ждешь учтливое, благовоспитанное племянника, сына, может быть, неродного, но незабвенного брата, и вдруг — нате вам: заявляется фанфарон и бретер, фат и циник с замашками ломового извозчика. И наиболее возмутительно то, что вы решительно не желали

меняться к лучшему, перенять хороший манер. Так, стоило нам тактично заметить вам, что потому-то и потому-то не следует делать то-то и то-то, положим — качаться на стуле, поскольку портится дорогая вещь, и затем, вы рискуете сверзиться и разможжить себе мозжечок, — как вами овладевали типичные достоевские бесы — конвульсии. Вы принимались кататься по полу, душераздирающе хрюкали, хохотали, лаяли. А когда мы бросались вызывать карету скорейшей помощи, вы спокойно вставали, отряхивались и заявляли, что все прошло и кареты пока не требуется. Такое фиглярство! А мы по своей наивности столь опасались за ваше здоровье — не дай Бог что случится: с нас же и спросится — что слово потом уж боялись вам поперек молвить. А вы стали пользоваться этим в своих интересах, взялись помыкать, командовать нами, покрикивать, вынуждали нас пить спиртное, петь уличного разбору песенки и зазубривать наизусть вульгарнейшие куплеты вашего собственного сочинения, которые вы беззастенчиво называли пьесами. Никогда не забудутся строки одной из них, самой с виду невинной, а на поверку донельзя уничтожающей вкус и достоинство одинокой женщины беспримерной двусмысленностью.

Одиножды один — шел гражданин.
Дважды два — шла одна вдова.
Трижды три — в квартиру вошли.
Четырежды четыре — свет потушили.
Пятью пять — легли на кровать.
Шестью шесть — разделся весь.
Семью семь — раздел ее совсем.
Восьмью восемь — еще его просит.
Девятью девять — приятно ей ведь.

Извините нас, Палисандр Александрович, но здесь нет ни толики вдохновенья — ни толики! Не говоря уж о бедной рифмовке. И если вы вправду прослыли в Кремле вундеркиндом, то, видимо, в некоем ином отношении. Вообразите же, каково было нам, с гимназических пор упивавшимся Надсоном, Гейне, Бальмонтом, зазубривать, а затем декламировать приведенную низость, что вы полагали программной пьесой! При чем декламировать с выражением, с подвываниями — ведь вы настаивали на них — настаивали — не отпирайтесь. О, как мы наплакались, исстрадались. Не смея роптать, мы ходили по струнке, иначе вы принимались пощелкивать себя по носу — часто-часто, Палисандр Александрович, часто-часто, словно вы были майн-ридовский пересмешник, дерзающий передразнить дрозда. Дрозда или барабанщика, отбивающего барабанную трель. И звук пощелкиваний, между прочим, казался

пугающе звонок, будто бы вы стучали не по носу, а прямо по перепонкам. То был признак какого-то внутреннего тревожения, грозящего перерасти в неумную бурю и натиск. И мы не смели послушаться, мы не смели. Хотя однажды имели неосторожность поинтересоваться: мол, отчего вы так поступаете?

«Оттого», отвечали вы, горячась, «что в детстве мне на нос упала гиря от ходиков — а?»

«Бедный малютка! Какое несчастье! Мы ничего об этом не знали, нас не уведомили. Простите».

«Простите? Мне не в чем винить вас. Ни вас, ни кого бы то ни. Разразилось стихийное бедствие. Перетерлось связующее звено, и распалась привычная цепь времен. Вот и все. Только ведайте: ваш племяш перенервничал, перетерпел, судьба распорядилась им негуманно. И ведайте также, что с колыбельных лет переносицу ему заменила платиновая пластинка, и вследствие происшедшего он лишен возможности наслаждаться течением Хроноса, тиканьем его адептов — часов, а особенно — ходиков! Все эпох и конструкций! Ибо он не видит — бежит — или же сокрушает их — на бегу!»

И словно громадная кошка вы кинулись вдоль этажерок с различными статуэтками и хищнически принялись срывать со стен наши чудные антикварные ходики, которые мы буквально годами скупали в комиссионных, коллекционировали и презентовали друг другу на вечную память. Вы срывали, швыряли их на пол и тщательно плющили каблуками своих гренадерских потешных сапог. Вы были немилосердный варвар — вандал, и зубчатые те колесики, милостивый государь, раскатились по вашей милости кто куда.

«Не отчаивайтесь!» кричали мы вам печально, как чайки. «Отныне мы ведаем, ведаем! И мы сожалеем, скорбим вместе с вами».

«Не в силу ли вышеуказанного», кипятились вы, «не затем ли не смог ваш племяш пойти по стопам своих предков и родственников, стать достойной им сменой, продлить замечательную традицию, но вынужден был подвизаться по классу гробокопания и кремации!»

«Разумеется, Палисандр Александрович, разумеется, в силу. Такая нелепая несправедливость — кремация — ужас!»

«И если вы до сих пор удивляетесь, отчего он так поступает, то знайте: он поступает так потому, что не может не. Ибо это так называемый тик. А поскольку причина данного тика так связана с часовыми приборами, то попросил бы его называть точнее — тик-так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, безусловно тик-так, как же иначе».

«Однако весьма заблуждается тот», всклокотали вы сызнова, «кто считает, что ваш племяш воспитан в духе сиротского эгоцентризма и позволяет себе тик-так в отношении себя единственно».

И тогда, приблизясь, вы вдруг и больно-таки пощелкали тетушек по переносицам их. Только звук оказался не тот, что у вас: был не звонок, не перепончат, будто звучали мы под сурдинку, пиано.

«Ну, а теперь», приказали вы, «подымите руки, кто читывал петербургскую повесть «Нос» Гоголь-Моголя».

Мы все подняли руки, хотя нам стало как-то неловко за Николай Васильевича, что вы его несколько походя очернили. Ведь как-никак, а вполне уважаемый автор своих собраний, писал человек, не ленился. Но мы не смели и тут возразить, Палисандр Александрович, просто не смели. И чтобы польстить племяннику, стали и сами вольничать — расхиликались, расшалились, словно бы в классах: дескать, у Николай Васильевича у самого нос был длинный.

«Ха! Только ли нос, дорогие тетушки, только ли нос», отвечали вы нам, недостойно подмигивая.

Мы зажеманились, засмущались: «Ну что вы, право, конечно же, только. Да мы и не понимаем таких экивоков — ведь правда, девочки?»

«А напрасно, напрасно не понимаете», наставляли вы. «Ибо не только сказка, но и любая писаная небылица содержат подспудный подтекст. И поэтому всякое образованное правительство цензурировало и намерено впредь цензурировать вверенных ему графоманов. А то правительство, которое наивно воображает, будто герой петербургской повести майор Ковалев в самом деле остался без носа, есть полное дура. Нос, любезнейшие, — лишь тонкий намек на толстые обстоятельства, эвфемизм-с. Незадачливого майора оставил не нос, а — что-с?»

«Фуй, какой вы шалун, Палисандр Александрович? — Да ну вас, прямо. Давайте мы лучше о Петербурге поговорим, о городе в целом. У нас масса открыток с видами этой Пальмиры. Сядем, будем рассматривать, припоминать имена архитекторов, инженеров, прорабов — да сколько бронзы пошло — да гранита — да извести — да при ком возвели — да за чем — да сколько рабочих погибло — да чаю согреем».

«Э-э, разве это открытки», взглянули вы искоса.

«Палисандр Александрович, а карты, карты? Пасьянсом так хорошо коротается вечер, что хочется, чтобы он никогда не кончался. Вам знакомо это желанье — не правда ли? — никогда».

«Тоже мне — карты», надменничали вы, тасуя. «И не скушно вам так-то, с такими, то есть, картинками — а? С тоски удавиться можно. Вот я свои принесу — тогда и разложим».

И на следующий наш сестришник приносите вы такие уж мерзопакости, что мы даже не мыслили, что подобные вещи вообще практикуются. От стыда за этих негодников, в особенности за дам, с нами сделалась удивительная апатия, вялость, и мы сидели все тихо рядком и рассматривали. А потом разнервничались, разволновались, вино стали пить, пустились раскладывать, рассуждали, что вот как, оказывается, возможно — и так, и эдак, валет, мол, сбоку, король с припеку, а дама, бедовая ее голова, во все тяжкие: ералаш да и только.

А когда мы уже сами себя не помнили, вы приказали нам поиграть в дочки-матери — помните? Некоторые не послушались, уселись за клавесин да и бренчат себе некую чепуху опереточную, четверти что-то такое на три — жили-де у бабуся веселые гуси, аллегро. А прочие — они стали несколько нянчить друг дружку, словно бы были маленькие, несмышленные. Да мы ведь и были. Мы впали в далекое близкое — в детство. Мы выпали из ума, из воли. Вернее, вы отняли их у нас. Вы, вы, не отказывайтесь. Недаром — ах, как недаром! — мы находили в вас столько распутинского очарования.

Нянчим, значит, себя, пеленаем, бай-бай укладываем, вы же — присматриваете, наставляете, учите неумех уму-разуму. А раскапризничаемся, напроказим — то ата-та, ата-та нам, а зачастую и в угол. Поначалу-то все из-под палки, исподволь, но после так разыгрались, в этакый раж вошли, прямо куда там. Знать, верно ученые говорят, время все вылечит. А тут и медик как раз стучится: тик-так, тик-так. Пригляделись, а это вы, наш племянник. Только переоделись немного: бородку себе приклеили чеховскую, простынку на плечи набросили — чем не врач.

«Вызывали?»

«Тик-так, вызывали».

«Тогда раздевайтесь».

И распеленали для вас, Палисандр Александрович, матери дочерей своих, и раздели дочери матерей, и вы стали их пользоваться. Вставили себе лупу какую-то в глаз и объясняете по-научному: «Будем пальпировать». И давай нас подряд всех пальпировать, то есть прощупывать, у кого что не так. Щупать, в сущности. Мы, конечно, в амбицию: мол, помилуйте, деточка, что же вы это себе позволяете, некрасиво, нелепо, у нас возрастная пропасть: вам рано, а нам, по всей вероятности, поздно. И по рукам, по рукам вас, чтоб впредь непо-

вадно было. А вы говорите, бородкой-то чеховской нас щеко-ча где не след: «В течение профилактических процедур пациентам категорически воспрещено противиться. Отвлечитесь. Тик-так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, тик-так, только три-ко-то хоть не снимайте».

А вы говорили: «Забудьтесь, считайте, что все понарошку, переходите в nirvanu».

И забылись, разнежились, дуры набитые, — перешли. А что вы хотите — щекотно же. Да и любопытно при том — чем дело-то кончится. И не успели мы толком сообразить, что к чему — а оно уже и кончилось. Славную, славную задали вы нам профилактику, милый доктор, уважили, называется, на закате лет: только жилы похрустывали. Вылечить, может быть, и не вылечили, но разделали под орех. Какое ух тут понарошку, когда по всей форме использовали. Да и не один, если вдуматься, раз. И верно ведь вы декларировали, что ежели семью семь, то считай, что полностью: до нитки разоблачили. И восемью восемь точно: впоследствии клянчили все да занскивали: еще бы разочек, а, доктор, еще бы — девятью девять же, чего там греха таить. Правда, насчет шестью шесть вы неверно высчитали, поскольку сами-то — не разделись. Как были при бабочке, так и были: ни дать ни взять — Гиппократ. И даже рецепт на прощанье выписали: «Процедуры практиковать два-три раза в неделю». И лихо так расписались внизу: «Доктор Фрейд».

А потом вы нашли в прихожей на вешалке дирижерский, еще деда нашего, фрак — надели — пришили к лацкану объявление: «Настройка запущенных инструментов» — и направились к тем из нас, которые упражнялись на клавиатуре, наивно себе полагая, будто буря их миновала. Напрасно радовались — досталось умницам на орехи, задали им по концерту для скрипки с хорошим смычком. В такое тремоло их всех чохом вогнали — только держись, все струны внутри дребезжали. Поделом же им, старым авоськам, будут знать, Палисандр Александрович, как от коллектива откальваться. Музыкантам вы тоже толковую памятку прописали — у самых уже дверей. «Инструмент регулярно смазывать Бах». И только мы вас, вундеркинда, и видели. Ай да пролаза, думаем, ай да ходок. Погодите, да вы же растлили нас — обесчестили — лишили всякой невинности! Немедля вернитесь и попросите прощенья! Вы слышите? Нет, даже не обернется. А ведь годами, годами.

А еще, если помните, где-то в Сокольниках, в Марьиной Роще и на Бегах проживали другие из нас, тоже более или менее многоюродные, кого вы приворожили не на дому, а на

кладбище, где мы навещали почивших подруг. И, поверите ли, мы тоже ждали годами, априори не чая в вас ослабевшей души, и не чая уже увидеть. Но вы приходили.

Вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертанья предметов призрачны, а черты отошедших особенно миловидны и памятны, — в час, когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры, украшенные ниспадающей бахромой оренбургских пуховых платков и башкирских шалей, несколько не отличимы от безутешных, горящих вместе с нами плакучих ив — о, несколько — и наш старушечий лепет вплетается в лепетанье их листьев и в копошение птиц, что гнездятся в их душлах, — и черные наши ленты вплетаются в их побеги, в их косы и наша плоть одевается их заскорузлой корой — и течение нашей крови свивается с хладными струями ивовой живицы, сукровицы — и свиваются наши судьбы и срок — о нет, Палисандр Александрович, — неотличимы — ничуть. Правда, вы отличали нас, потому что являлись нам в образе палисадника — всегда и беспечно цветущего розами дерева роз — чрезвычайно ладного, гибкого, сладостно веющего благодатью негаснущих вечеров нашей юности — тех томительно будоражащих, знаете, вечеров — предвечерий — предночий, в которые, кажется, недостает только крыльев — лишь оперенья, дабы взлететь — воспарить — взметнуться. Однако в саду есть качели и можно, зажмурив глаза, воздыматься и падать, и падать и воздыматься. А где-то поодаль играют прелюды, в крокет или просто беседуют, расположившись в плетеных шезлонгах, а на пруду — скрип уключин, плесканье купальщиков, и кто-то прислал вам записку: вас ждут. Но вы, разумеется, никуда не пойдете. Вы влюблены? Нимало. Просто вы замечтались улыбочиво, смотрите ласково на облака — те волшебные. И непередаваемо догорает закат. И вот тут-то в цветное стекло веранды ударяется шумный жук! Вы вздрагиваете: майский или июньский? Лукаво, не мудрствуя, глянешь на численник и поймешь: если май — значит майский, а если июнь — непременно июньский. Но вечером тридцать первого мая по старому стилю — кто знает: такая неразбериха, сирень. Вы помните, сколько дискуссий на эту тему кипело в кружках дворянской учащейся молодежи, особенно вольноопределяющейся. «Не спорьте, голубчик, это типичный майский». «Неправда, июньский». «А я вас смею уверить, что майский». «Сами вы, братец, майский!» «А вы, а вы!» — и уж непременно стреляться. А экне страсти горели в среде разночинцев, и сколько там было вольнолюбивейших идеалистов, романтиков, незамутненных сердец. Вы помните? — где-то, когда-то, в каком-нибудь неопределенном уезде, когда вы только что по-

ступили на курсы — или закончили их — или приехали на вакации, в доме родителей, кажется, в левом крыле, нанимал квартиру один перманентно всклокоченный телеграфист — страшный щеголь, и это, естественно, он посылал вам записки. Да-да, посылал-посылал, а потом уложился, упаковался — и в Тулу. И мы никогда уж не виделись — никогда. В Тулу, кто бы подумал. Ах, ничего-то вы, сударь, не помните, вас ведь тогда еще не было. Впрочем, являясь нам в образе палисандра, какие живые детали былого умели вы навевать, утешая словами листьев, лобзая губами бутонов и вдруг — утоляя наши печали нектаром пестиков. Но — пробужденье! Оно застигло подобно форменному кошмару — врасплох.

Под утро, когда все чары рассеивались, мы вспоминали, что вот, вечер, перед самым закрытием, вы подошли к нам в облики мастерового с предложением обычных услуг: подновить ли ограду, поправить ли покосившийся крест: «Что, мамаша, потрафим усопшему?» А мы все отказывались, отстранялись: «Нет, нет, благодарствуйте», — а вы все настаивали, приступали: «Потрафим, потрафим», — и, очаровывая, сулили прелестное. «Вам», говорили вы, «будет приятно». Честно сказать, вы безумно интриговали нас, молодой тогда человек. Мы поистине млели от любопытства и вместо того, чтобы звать бродивших в окрестностях сторожей, чтобы они колотили вас колотушками, — в ужасе — в каком-то радостном ужасе! — мы соглашались. На — все. И когда это все начиналось и длилось, а длилось оно всю ночь, мы, желая идеализировать ситуацию, предавались иллюзиям, фантазировали: «Мы — ивы, ивы, согбенные ивы, а он — палисадник, палисадник, палисадник, веющий благодатью негаснущих вечеров». И впадая в патетику, отдавались душою и телом. Пылко! Подобострастно. Однако под утро все чары рассеивались, и мы обнаруживали себя в обстоятельствах крайне стеснительных, скомканных, непоправимых. Нам открывалось, что мы никакие не ивы, а вы — никакое не дерево роз, и пуховые наши платки сиротливым укором висели на так и не выпрямленных крестах и на зубьях так и не выкрашенных никем оградок.

Вглядитесь же! Не на этих ли акмеистских скамейках кладбищенского бульвара, где ныне вы воздвигли себе прижизненный монумент в виде себя самого, оперевшегося на сложенный зонг, — не на этих ли, говорим мы, скамейках вы юношествовали с нами до зеленой зари — с нами, вашими горделивыми тетками, жившими некогда в Театральном проезде, в Старообрядческом переулке и на Собачьей площадке. О! О такой ли заре мы мечтали, с энтузиазмом мужествуя с непогодой, борясь и шествуя в едином строю, Палисандр Александрович. «А, Палисандр Александрович», тормозили

мы вас. «Проснитесь, это становится невыносимо. У вас омерзительная наследственность: вы всхрапываете, точно дед Григорий — навзрыд. Ничего не скажешь — хорош, хорош, наградил Бог племянничком». Слушайте, да отдаете ли вы себе хоть малейший отчет в происшедшем? Превратно истолковав их доверие, вы совершили массовое растление престарелых. И пусть мы не знаем и не желаем знать, о чем гласят соответствующие статьи уложения о наказаниях, ибо мы не из тех, кто выносит болячки чести на поругание стряпчим, имейте в виду: вам зачтется. Ибо, скрепя сердце, мы все пожалеем мальчика и, конечно, просим, пожури, потому что мы любим — мы до сих пор обожаем его, сына наших довольно-таки отдаленных, но все-таки родственников. И пускай он не пощадил одинокой старости нашей, он, верно, тоже привязан к теткам. Не правда ли? Хоть немного, по-своему. Так хочется верить. Признайтесь, ведь — да. Так кивните, кивните, подайте нам знак согласия. Непременно должна быть некоторая взаимность. К тому же у вас никого, кроме нас, не осталось; учтите, вы — сирота и нуждаетесь в ласке, в опеке — так навещайте нас, навещайте, право — мы больше не гневаемся — мы простим — пожалеем — вспомним прежнее — поиграем. Во что-нибудь этакое. «Милый, милый — о, милый», писали вам и плакали прямо на буквы. Ну, что же вы не приходите, бывший мальчик — чугунный старик — безобразник противный: годами, буквально годами. А Клио, о которой вы отзывались не слишком почтительно, уверяя нас, будто ее кобыла стоит на кремлевской конюшне, и некоторые учащиеся вашего ремесленного училища келейно используют ее в низменных интересах, — Клио тоже скрепит себе сердце. Ах, музы, музы, все они — наши сестры, горькие и заезженные существа вроде нас — незлобивы, отходчивы. Клио тоже простит, Палисандр Александрович. Простит и остынет. И позабудет. Ручаемся. А Бог даст — и еще возвеличит. Да только вы-то, вы сами — разве забудете? Разве гарпии совести не превратят преклонные ваши дни в сплошные терзанья, а розы — в тернии? Все-непременно, всенепременно, причем уже превращают, зане преклонные дни наступили, и мы — клекот гарпий: зачтется, зачтется — воздастся! Признайтесь-ка, кстати, сколько вы со-вратили, бесчестный оборотень. Доверьтесь, доверьте нам число по секрету. Исключительно антер ну — да ну же, честное пенсионерское, мы никому не скажем. Уважьте, польстите старческому любопытству, побудьте хоть раз откровенны, а то — заморочим, не станем давать покою даже ночами, как вы не давали нам. Только вдумайтесь: не только белые дни, но и синие ночи отчаянья! Слышите? Дайте отчет и раскайтесь, иначе мы осеним вас своими крылами.

«Раскаяться?» отвечали вы. «Хоть сто раз, как говаривал мой до боли знакомый. Но ваше число не поддается учету». И продолжали.

Мол, помните Лопе де Вега? Когда-то он был молодежным идолом. Пьесы этого выдающегося графомана шли на многих столичных театрах, и многие почитали долгом хоть раз причаститься его страстям, в каком бы глухом захолустье ни жительствовавали. Успех драматурга весьма неслучаен. Перу его принадлежит до полутора тысяч скабрезнейших водевилей, а перьям им соблазненных особ — сборник довольно претенциозных писем — по одному от каждой. Со вкусом составил и под броским названием «*Me gusta de Vega**» издал этот сборник сам Лопе. И вот, когда мы с его земляком Хуан-Карлосом расставались под гулками сводами Эстасион дель Ниньо Езус, то все не могли припомнить количество тех посланий. Тогда-то и было заключено пари, известное нам теперь по учебникам как Мадридское, или — что более точно — Вокзальное. Условия его необременительны. Та из высоких договаривающихся сторон, которая, не прибегая к услугам справочников, библиотек и советников, первой вспомнит число составляющих сборник писем, считается стороной первой вспоминаящей упомянутое число, и ей соответствующие грамоты. Стороне же, вспоминаящей упомянутое число второй или вовсе его не вспомнившей, не вручается ничего.

Со стороны испанской плутократической республики соглашение подписали Хуан-Карлос с супругой и сопровождающие их смуглые лица. Со стороны новорожденной российской хронархии — я и сопровождавшие меня Одеялов и Амбарцумян, что пошел в походную кухню и быстро вернулся, неся на подносе цыпленка по-киевски и выпить на посошок. Так в который уж раз мне представился случай удостовериться в деятельной преданности нашего кашевара-на-марше. «Сей не отравил», подумалось мне и блеснулось хорошей, хотя и кривой, саблезубой ухмылкой. Все выпили, закусили, и в знак приязни мы с королем преломили куриную дужку.

«Берите и помните, Ваша Вечность», сказал он мне.

«Беру и помню, Ваше Величество», парировал я.

Тут Хуан подал знак, и господ отъезжающих пригласили в вагоны. Ударили отправленье — раздался «Некрополитанский романс» Чайковского — взвились семафоры — вымпелы — поезд весь передернуло — лица моих людей прикипели к стеклам — вода в моей ванне вскипела — и яйца, яйца, что только что — впрочем, довольно о них — довольно — обрыдли —

* «Люблю де Вега» (исп.).

всю Западную Европу напропалую — яйца да яйца — пакн и пакн — круче и круче — невероятно — какая-то межеумочная — напролетная безысходность — будто кто-то неправый, но грубый обрек вас на эти яйца, как на галеры — приговорил к ним пожизненно — приковал — принайтовил — а? Артак Арменакович? Артак Арменакович, в сущности, ни при чем. Он не властен. Он лишь старательный повар. Вернее, слишком старательный. Спору нет, он мог бы, по-видимому, помилосердствовать — снизить — урезать сроки варения или убавить пламя. Но разве это решение вопроса? Нау! Яйца останутся яйцами, если по всей раздираемой противоречиями западноевропейской теснине — по крайности вдоль чугунных ее путей — продают исключительно яйца — да, может быть, соль к ним — да мыло — да лезвия, слава Богу, — да, может, газеты. И все. И обчелся. Сколь унижительно оскудела и полиняла земля, подарившая миру десятки байронов, сотни фуко и — тысячи геростратов. Не уморительно ли в настоящей связи цитировать сетование Македонского, завязтого книгочех и просветителя: ах, у него, мол, видите ли, библиотека в Александрии сгорела. Уморительно, гражданин Александр. Потому что у вас же и в остальных империях в результате все тех же противоречий сгорело всякого барахла на миллиарды драхм: ипподромы и велодромы, кунсткамеры и рейхстаги, мосты и механические мастерские. А уж библиотекам сам черт велел: ведь — папирус. Отвлекитесь от ваших потусторонних забот и взгляните окрест: пепелища. А какая безнравственность, по каким пустыкам разгораются эти сыр-боры! Однажды на вечере у принцессы Монако принц Лихтенштейна, имевший с ней ранее более нежели тесные отношения, но освобожденный от них как несправившийся с обязанностями, при всех предлагает ей куртуазный вопрос: «Как вы думаете, если бы мы условились называть свои ноги усобицами, то что в нашем случае мы разумели б под междуусобицами?»

« В вашем, Ваше Высочество, случае», оскорбилась принцесса, «совсем немного». И вдобавок распорядилась немедленно оскопить несчастного. Так разразилась очередная континентальная распря, получившая наименование междуусобной, или — Новой Столетней, поскольку конца ей не видно. И когда отвращение к яйцам переходит последний рубеж, когда мы уже не чаем полакомиться чем-либо помимо оных до самых русских границ, тогда к нам судьба направляет Самсона Максимовича Одеялова с околесицей разнообразнейших яств.

«В чем дело, почтеннейший?» говорил я ему, неслушающимися от вождельенья перстами заправляя салфетку за воротник дорожного куртеца. «Вы шутите, мнитесь или навяли

сон? Развейте, развейте, это нехорошо, негуманно, я не желал бы иллюзий. А — специи? А — приборы? Благодарю вас. Однако какой Лукулл посылает нам от щедрот все эти кнедлики и шпикачки? Или они — из старых, еще гаитянских запасов? Не я ли вижу турятину и гонобобель со сливками? Но тогда — отчего не прежде? К чему же было томить, испытывать весь поход, его месяцами? Вы что — саботируете? Мешочничаете? Укрываете пищевые продукты от лиц государственной важности? Несolidно, милейший, вы, все-таки, интендант высокого ранга. Подумайте, что подумает Трибуна Истории. Раскайтесь, молю вас. Зачем говорить своему мешочничеству малодушное да, если можно сказать ему доблестное лейтенантское нет — навязать ближний бой — дать блистательную баталью! Иль вы хотите сказать, что купили данную роскошь на станции, у некоего легендарного Креза? Прекрасно, скажите. Правда, я не могу обещать, что поверю, но я постараюсь — дерзну поверить».

«На станции, Ваша Вечность», кивнул Одеялов С. М. «У крестьян».

Раздернув оконные шторы*, не тотчас узнал я ее — так она посвежела, так брызнула красками пастбищ и толп: утопически тучная и счастливая Польша, исполненная событиями чисто польского толка, свободно стелила передо мною свои полевые пределы. И подумалось мне тогда о моем старинном приятеле Павле Иоанне Втором, которого я всегда просто пара. Подумалось о наших задушевных беседах на яхте Жискара д'Эстена с дразнящим названием «Лоллобриджида», что плавно покачивалась когда-то на Лаго Маджоре в виду

* Всеми своими складками они до странности напоминали мне шторы, задерживающие пасть крематорской механизированной преисподней, дабы пришедшие вас проводить не смотрели, как остро нуждающиеся кочегары и практиканты от благородных училищ злорадно вытряхивают прифранченного Вас из гроба и грабят: берут одежду и обувь, пенсне и монисто, колье и браслеты, паспорт и зонг, — и в конце обнищавшего, обнаженного швыряют в жар. Одна, как заметил какой-то поэт, но пламенная страсть владеет там равно и человеком, и гражданином. Вас поводит, корбит, Вы корчите из себя живого, пытаетесь приподняться, восстать, но особыми вилами Вас arrogantно придавливают к раскаленным колосникам. Тогда Вы смиряетесь, съжигаетесь, сереете и теплым пелом тихо сыплетесь между ними в поддон, где и смешиваетесь с останками остальной клиентуры, в частности, бродячих животных, сжигаемых в той же печи по разнарядке вышестоящих организаций. В бытность мою практикантом Центрального Эмского Крематория имени Патриса Лумумбы я не пользовался привилегиями остро нуждающихся, то есть — не грабил, не раздевал, но прекрасно видел, как ловко и слаженно это делается. Когда-нибудь я с удовольствием поделюсь полученными там впечатлениями, а пока разрешите раздернуть только оконные шторы — шторы окна, имеющего быть окном одного из вагонов идущего на восток состава сугубого назначения.

Локарно. Подумалось и о вере, надежде, любви, о пользе религиозного возрождения в рамках не только общин и сект, но и стран, континентов. И как-то само собою вспомнилось, что знаменитый год, на который первоначально планировался Конец Времени, тысячелетие отсрочки коего широко отмечалось международной общественностью накануне отбытия моего из послания, мистическим образом соответствует сумме писем, составивших «Me gusta de Vega». И туго натянутыми проволоками железнодорожного телеграфа в Мадрид полетела моя зашифрованная депеша Хуану: «Девятьсот девяносто девять».

Не знаю, как мог я запомнить это число: ведь некогда, в мои новодевичьи года, три де веговские девятки носились в воображении всечасно. Три девятки! Никогда не мечтал я о титуле андалузского графа, да и литературная слава Лопе меня не влекла; но лавры, выхлопотанные испанцем на поприще будуарных нег, подстрекали будущего Свидетеля к сплошному дерзанью. Да, я завидовал драматургу. И вы, мои многоюродные ракиты-плакиты, и какие-то просто тетки — чужие, прохожие и проезжие, тетки в уличном, бытовом осмыслении слова — становились невольными жертвами этой зависти, этой азартной неуспокоенности моей. Три девятки! Что значит в сравнении с ними лишь две девятки Марины Цветаевой, слывшей когда-то кокетливой ветреницей. Не случайно в светелках наших российских скромниц портреты ее давно уступили место иконографии более умудренных, матерых, созвучных времени поэтесс. Не те же ли самые скромницы разовьют переплеты моих мемуаров, раздерут их поглавно и постранично и станут читать и заучивать столь же прилежно, взахлеб, сколь мамыли, бабули и прабабули оных зазубривали кумиров своих эпох: мопассанов и миллеров, де садов и арцыбашевых. Я приветствую вас — пухлогубые, нежные, истерично восторженные и ужимчивые! Дерзайте и вы — терзайте — члените — зачитывайте меня до дыр. Не стесняйтесь — делайте свою интимную жизнь с Палисандра Прелестного. Только действуйте осмотрительней. Не забывайте меня под подушками, в ящиках парт и вообще учитесь конспиративным приемам. Возьмем дневники. Почитайте за лучшее не вести их совсем. А если нейдет, если микроб графомании поселился и в вас, то по крайности не увлекайтесь подробностями. Не пишите, что, дескать, вчера необдуманно уступила А., нынче — Б.; а завтра уже непременно отдамся В. Это худо. Полиция нравов не дремлет. Пускай статистика будет сухой. Проставляйте не имена и не инициалы даже, но палочки, галочки, крестики, нолики, разные закорючки. А будучи спрошены, что означают сии пометы, и отчего их так

много, скажите: считаю в небе ворон, и вот их много. Сам я использовал такой нероглиф, как запятая. Для лиц с миниатюрным воображением, из каковых, главным образом, состоит вышеназванная полиция, запятая — не более чем невинный знак препинания. Но художник, интуит иногда заподозрит в ней скрытый смысл. Запятые, которыми испещрял я беленые стены моей монастырской кельи, столь явно (для интуита) символизировали старух, согбенных в плакучем блуде своем, что гривастый иконописец и главный маляр Патриархии Илья Глазунов, по веснам производивший побелку нововедичьих помещений, при виде моих скрижалей смущенно бежал, обронив в коридоре кисть, и никогда не вернулся. Настенная тайнопись была спасена.

А Божественное Провиденье вершилось своими спиралями. Моей девятьсот девяносто девятой, заветной, бабусей становится прихожанка Елоховского собора, старушка набожная и опрятная, поведавшая, что когда-то была она величайшей грешницей. За ненадобностью я забыл, что именно Пелагея Ильинична подразумевала под этим. Была ли она вокзальная девка, то ли просто гулящая, была ли воровкой, обкрадывавшей сыновей своих, или же подвизалась в какой-то мерзейшей партии — не припомню. Сейчас все так спуталось, переплелось. Да и не все ли равно — нам-то с Вами, теперь-то, спустя и спустя, кто кого там обкрадывал или бесчестил, продавал или покупал — там, в старом Эмске или в древних Афинах, в Вавилоне или в Исфагане, в Пенджабе или в Содоме. Сами мы, слава Зевесу, одеты, обуты, накормлены, никого не обманываем, не пытаем. А то, что где-нибудь в Новой Гвиане ввели закон о всеобщем и полном ношении набедренных тряпок, или что фривольная земля Калифорния последовала, наконец, примеру загадочной Атлантиды и почти целиком провалилась в тартар, то тут мы также не властны воздействовать, отменить, помешать произволу. Принципы невмешательства святы и жестки, и наши с Вами манифестации никого не взволнуют. И, пожалуй, единственное, чем мы можем ободриться перед лицом своего исторического бессилия, это факты чистосердечного осознания Пелагеей Ильиничной прошлых грехов ее, раскаяния в них и наступившего вслед за тем благочестия. Оно-то и не позволило сбить Пелагею Ильиничну с панталыку немедленно по знакомстве. Точнее — с пути ее в церковь. Наоборот, мне потребовалось идти туда с нею вместе: и чтобы сделать приятное ей, ублажить, задобрить — пришлось раздать на паперти всю карманную мелочь, купить и расставить местами свечи, а после встать самому и выстоять всюнощную напролет, слушая, как Пелагея Ильинична со товарищи выводит что-то пасхальное, и подпевая. А духота была — невоз-

можная. Ведь экне прорвы людей сходились некогда в храмы по праздникам: пели, молились, плакали. Да и теперь еще ходят. Добрый, отзывчивый, все же, у нас в России народ. Таким народом и править-то совестно. Впрочем, разве я правлю? Я только свидетельствую, созерцаю. А управляет у нас, как известно, Время, с которого взятки довольно гладки. Хотя, если верить теории Ниппельбаума, оно изумительно вымеобразно.

Лишь утром, когда служба закончилась, уговорил я Пелагею Ильиничну прогуляться со мной ботаническим вертоградом, где приобрел ей различных конфет, шоколаду, а также любимых ее леденцов, в том числе и на палочках. И пока она в забытье их сосала, я также имел свое скромное удовольствие. Совокупление состоялось среди орхидей отдаленной оранжереи, в сплетениях дрока, под сенью цветущей агавы и мандрагоры.

«Грехи наши тяжкие», угрызала себя Пелагея, напяливая шерстяные рейтузы на помочах.

Я сколь мог успокаивал потерпевшую, но мыслилось о другом. «Девятьсот девяносто девять!» праздновал мой тщеславный ум. «Девятьсот девяносто девять!»

Затем мы направились к ней в Колодезный переулок. Весна была ранняя, дружная, и вокруг все блестело от слякоти. Будучи дворником, приятельница моя проживала в дворничкой, где в означенный день состоялась пасхальная вечеринка вскладчину в составе некоторых непримужних и пожилых швей-надомниц, лифтерш, судомоек и прочих, на редкость простых, безыскусственных обывательниц околотка. Съев до дюжины куличей и напившись кагору, фиеста, как говорят, взорвалась. Играли в частности, в фанты. Мне выпал фант покатать всех по очереди на лифте.

Для пущего интереса мне завязали глаза. Лифт подали. В нем уже ожидала некто, сладко веявшая половой тряпичей. Словно слепой баянист, я нашарил кнопку верхнего этажа и нажал ее. Мы взмыли. По возвращении в цоколь первая некто вышла, вошла другая, отдававшая кухонным полотенцем третьегоднешней стирки. И все повторилось. Дом был в несколько всего этажей, но лифт заедало, и потому всякий раз я успевал за одну поездку проделать именно то, что только и имелось в виду ненасытными, надо сказать, старухами. Живая очередь их клокотала и вздорила. Нет, не скрою: занятие наше отзывалось голым начетничеством и грубой механикой в духе текущего века, зато теперь сумма бабушек, оказавших мне благорасположение, весьма перевалила за тысячу. Так был посрамлен и низложен кумир моего монастырского отрочества Феликс Лопе де Вега Карпио.

После Пасхи похождения продолжались, однако характер они имели уже более спорадический. Немного почив на лаврах и больше не выцарапав на скрижалях ни запятой, я сбился со счета. Поэтому, кто теперь знает, любезные тетушки, сколько вас было. Ищи-свищи, говорят, в поле ветра. Да и к чему вам? Не все ли едино в Полях Ожидания. И не все ли вы прах. Милый, чудный, растленный, но — прах. И следовательно — не зовите меня оттуда по имени-отчеству. Не зовите никак. Ибо вас нет. Вы убыли. Я попросил бы принять это обстоятельство к сведению и не позволять себе также выкриков типа «зачтется, воздастся». Откуда вы знаете, может быть, мне давно воздалось. Что знаете вы вообще о пройденной мною жизни и о других, прежних жизнях моих! К тому же, как выражался мой дедоватый дядя, а ваш незабвенный братец, одно растление есть трагедия, тысяча — просто статистика. И поэтому я не боюсь вас. Тем более бледным днем. А когда сонной ночью сквозняк ненароком удушит пламена моего канделябра, то Одеялов немедля придет оживить их — придет, придя. И, brave полунушники, мы разопьем с ним бутылку конфискованного у гвардейцев белого. За упокой ваших душ! Потому что в значительное отличие от вас я жив и не чуюсь спиртного. Жив эрго вечен. Учтите. И мы побеседуем с денщиком до зари, до ее цветов победжалости, мастерски отраженных в лужах, в реках, в очах караула и лошадей. И не встревайте, сударыни. И прощайте. За все уже давно заплачено. Слышите? Вплоть до самой зари! До зари включительно, когда на мостах и набережных фонарики выключают газ!

